

Сергей Ерофеев

Подъём к Аннапурне

Повесть, рассказы

**Новокузнецк
2015**

Центральная городская библиотека им. Н.В.Гоголя
Новокузнецкий городской
клуб любителей фантастики
«КОНТАКТ»



Сергей Ерофеев

Подъём к Аннапурне

Повесть, рассказы



Новокузнецк
2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Е 78

ЕРОФЕЕВ Сергей Сергеевич

Подъем к Аннапурне : повесть, рассказы / Сергей Ерофеев ; Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя, Новокузнецкий городской клуб любителей фантастики «Контакт». – Новокузнецк, 2015. – 64 с., фото, ил.

© Сергей Ерофеев, 2014
На обложке – «Портрет Казати» Роберто Монтенегро (1914 г.)



Сергей Ерофеев

Родился в 1984 году

Подъём к Аннапурне

...будет ли завершением, будет ли
окончательным ответом достижение
поставленной цели?

*Люсьен Деви,
из Предисловия к книге Мориса Эрцога
«Аннапурна»*

Часть первая

1

Подъём к Аннапурне. Если бы я писал книгу о своей нынешней жизни или том странном подобии жизни, которым я теперь вынужден жить, я бы назвал её именно так. Но писать книгу я не могу. И причин тому несколько. Во-первых, мне нечем. Совсем нечем. Да и не на чем. Кончились чернила и нужно заправить ручку. И достаточного количества бумаги не сыщешь в моей квартире. Всё это, разумеется, можно разыскать в городе, можно позаимствовать даже германскую машинку «Торпедо». Да я мог бы поступить даже проще... Но... Во-вторых, я просто не могу это делать. Бывает ведь так: думаешь, думаешь, силишься написать что-то, – только вроде бы начал, только поставил первую запятую, – и мысли начинают путаться, смешиваться, и забываешь – что сказать-то хотел. Вот и у меня сейчас так же. Не могу писать – и всё тут. Даже если я добуду чернила, кипу бумаги и машинку «Торпедо», даже появишься они прямо вдруг на квадрате стола, это ничего не изменит. Ну, а в-третьих... Кстати, как странно: если есть «во-первых» и «во-вторых», – обязательно найдётся и «в-третьих». Читать это некому. Они там читать не будут. Они пьют, они трахаются, они льют воду на адские мельницы, лают и кукарекают, кормят гепардов, щиплют павлинов, рубят деревья зимнего сада и засыпают в лужицах пунша. Они не станут меня читать.

Да, кстати, есть ещё и «в-четвёртых». Знаю, это почти удивительно, но я начал всё забывать. Ну, не совсем всё. И точно не помню, когда начал. Но факт остаётся фактом – я многое просто отказываюсь запоминать. Именно такое чувство. Будто самый мой мозг не хочет вбирать в себя лишние мысли. Я не говорю сейчас о событиях, они почти не происходят в этой квартире. Нельзя же, в самом-то деле, считать событием чашечку кофе, который я не помню чтобы варил –

из зёрен, которые не помню, чтоб покупал. Или поход в сортир. Пересчёт пятен плесени на стенах. В этих стенах время размыто. Иногда кажется, что мой кофе был здесь всегда. Или я создаю его, когда созревает желание. Не варю, а сразу так – в чашке. Или что сам я творю и сортир, и новую плесень под потолком. Я вообще научился сотворять здесь предметы. Это я создаю их. Я почти убеждён. Вот, например, желтеющая в углу газета, где сказано, что Морис Эрцог взял Аннапурну. Покорил неистовую богиню. Я газету не покупал. То есть не помню, чтоб покупал её. Да ведь и не на что. Может, мой милый Харон занял мне денег? Может, я взял её там, на столике в гостиной или салоне? Или мне всучил её Габи? Всё это равновероятно и равнонероятно. Я б не хотел создавать её сам. Я бы расстроился, если бы вспомнил это.

Инсульт у меня был в двадцать пять лет. Двадцать пять. Не люблю я такие числа. Люди в них слабо верят и начинают поглядывать. Но это – чистая правда. Не в двадцать три, не в двадцать шесть. Не в двадцать четыре с половиной. В двадцать пять лет. Двадцать четыре и десять лучше округлять именно до двадцати пяти. Всегда был в этом уверен. Зачем я говорю это? Чтобы вспомнить о том, как тренировал память. Очень сложно жить, когда ты забываешь. Когда забываешь, что ты забываешь. Ведь в этом случае – всё опять как всегда, и не знаешь, что позабыл что-то, пока не будет уже слишком поздно. Помню, для начала я завёл записную книжку. Дурень. Я позабыл её где-то в первый же день. Честное слово, самым лучшим оказались маленькие бумажные листочки, где я ручкою писал, что надлежит сделать: планы, имена, встречи, фамилии. Эти листочки я клал в карман рубашки. Они были всегда со мною, и я мог перебирать их и узнавать о встречах, именах, ну обо всём этом. Проблема была в другом. Как не забыть о самих листочках. Ну, то есть как вспомнить, что их нужно перебирать, как узнать, что они ждут своего часа в кармане рубашки? Я исхитрился – ставил на тыльной стороне левой руки жирный чернильный крест. Каждый раз, когда руки представляли перед моими глазами, этот нелепый крест выводил из равновесия настолько, что я вспоминал о потребности что-то сделать, ошупывал себя и находил эти злосчастные листочки.

Как видите, у меня долгие и непростые отношения с собственной памятью. О чём это я? А, да. Я тренировал память с тех пор постоянно. Пока не поселился здесь окончательно. И память моя со временем сделалась великолепна. Я помнил Гёте наизусть, Библию главами, классиков десятками страниц, всех, с кем встречался когда-либо, – по именам и в лицо. Так удивительно, что я не помню этого дурацкого кофе и покупки этой дрянной газетенки. И имени моего, как бы

правильнее выразиться, перевозчика... – как глупо, наверное потому я мысленно и называю его Хароном, – я тоже не помню. А ведь он конечно же говорил мне. Может быть, занять у него денег на чернила и на бумагу? Это стоит обдумать. С другой стороны, он не очень-то разговорчив. Может быть, он и не говорил мне? Или же я не спрашивал? В любом случае это явно не имеет существенного значения.

Единственное, что меня выводит из равновесия сейчас, – эта жёлтая газетёнка. Ненавижу, когда в прессе пишут неправду. Не переносу. Морис Эрцог. Морис Эрцог покорила Аннапурну. Как глупо! Как бесчеловечно! Ведь надо же было так написать! И зачем? Чтобы меня позлить? Кто это сделал? Кто сунул мне эту старую тисканую газету? Явно – кто-то оттуда. Скорее всего – Габриэль. Возможно, это даже приглашение. И если это приглашение, то сегодня придётся ехать. Я ведь не могу отклонить его. Это не по правилам. Это невежливо. Все обидятся. И не станут приглашать меня больше. И тогда я останусь без единственной возможности быть в кругу людей, видеть женщин, курить. И пусть они купаются в ваннах «Мозта» и «Мумма», в конце-то концов, они тоже – люди. И, по своему, я даже немного люблю их. Они так любезны, что посылают за мною своего Харона, и мне не приходится напрягаться, чтобы добраться туда. Но какое жестокое приглашение. Воистину они меня дразнят, и я не верю, что они хотят мне добра. Иногда мне кажется, что я сам творю их, чтобы всё изменить, чтобы изменить прошлое, чтобы в статье стояло другое имя. Моё имя. Моё славное, звучное имя, которое я от всех скрыл. И сегодня, как и всегда, лишь только наступит час, я поеду туда с надеждой исправить прошлое. Воздать себе по заслугам, чтобы эта постылая бытность не наступила. Вернее, чтобы она и не наступала. Даже и не пыталась. Никогда. Ни до, ни после. Чтобы забыть окончательно и бесповоротно эту квартиру, эту газету, этот тлетворный город. Забраться на Аннапурну, возлюбить её как самое себя и позабыть о ней. Отныне и во веки веков.

2

Меня зовут Антон. Это не моё имя, но меня так зовут. Я приучил всех, чтоб меня так звали. Но не потому, что имя это уж очень мне нравится. Скорее, даже наоборот. Но у всего есть причины. Думаю, что моего перевозчика зовут так же, только он об этом не скажет. Когда он прибудет, а это случится сегодня вечером, обязательно поинтересуюсь. Если не забуду. Конечно же не всерьёз, а так. Забавы ради. Он ведь всё равно не ответит. Я его знаю. Я сказал – вечером? Вечер для меня понятие относительное. В этой квартире всегда

мрачно. Я не раздёргиваю окон и постоянно пользуюсь электричеством. И стенными часами.

Я люблю выезжать с Хароном. Это разнообразит моё подобие жизни. Да, я предпочёл бы отправиться в другое место и не после заката, но из других мест и днём никого за мною не присылают, а денег у меня нет. Так что гнилой этот город в дневном свете начал подзабываться. В половине одиннадцатого, когда добрые люди, как говаривала моя матушка, отходят ко сну, я, причёсанный и умытый, во фраке или парадной форме, – что кстати, хорошо сохранилась, но как всегда окажется не к месту и не ко времени, – закрываю дверь и спускаюсь скрипучей покосившейся лесенкой в галерею, освещённую единственной чахлой лампой. До сих пор удивляюсь, как не замыкает проводка в этом сыром просоленном коридорчике с видом на проплывающее дерьмо. Местный аналог «Испано-Суизы» с бархатным балдахином и лакированными бортами уже дожидается у порога. Сажусь. Харон, как всегда молча, налегает на циклопическое весло, мы огибаем угол дома, и гондола чёрной стремительной птицей вылетает из проулка в лунный простор Каналь Гранде.

Гигантский проток этот, как всегда, будет мрачен и таинственно свеж. Лишь здесь дух Адриатики от века рассеивает смрад и зловоние, прикипевшие к городу дождей, едва занятые латинами острова лагуны стали превращаться в древний Нью-Йорк. Тёмные неживые колоссы – гиганты на артритных ногах, ренессансные небоскрёбы в три, четыре, а то и пять этажей, торчащие из мутных и мелких вод, неясной чередой поплывут мимо в беззвучии, в мраке, едва дразня жалостное сознание сплошной стеною порталов и колоннад, вереницами безжизненных окон; и единственный свет, изливаемый ими в пространство, будет лишь отринутым лунным мерцанием, что и само суть – слабое отражение энергии солнца, энергии эго.

Этот город есть натуральный пример к учению о сансаре, цепочке извечных перерождений на пути в никуда. Я не знал его жителей, или мне казалось, что я их не знал. Я старался не замечать их, да они и привыкли быть незамеченными – это у них в крови. Последние века ирреальной республики, когда мистерия карнавалов, – слитных и спаянных в вечность тысяч и тысяч картинок убийств, пьяных оргий, содомии, разврата и мишурного блеска, – длилась до полугода, они научились быть незаметными и для Бога, и друг для друга. Жильцами этого места в отсутствие Человека стали его дома. Они рождались в муках болота, распятого хвойными сваями, выросли, вызревали, сливались с соседями в сладострастии тесной застройки, чахли и умирали, давая жизнь новым. И так от раза к разу поколения зданий жили здесь таким же подобием жизни, как живу здесь сейчас и я, –

кирпичные големы, вавилонские монстры из сна Даниила, с золочёными маковками и зыбкими чреслами, они сменяли друг дружку в погоне за бессмысленной целью быть предметами обстановки, декорациями, приютом зловония.

Но хлынули запахи севера, и ушла торговля, и ушли деньги, и пришла плесень. И не стало огней в широкой лагуне, и рухнула колокольня Сан-Марко, и повело своды дворцов и поверхности улиц. И пришла вода и утопила город в собственном кале. И пришли иностранцы и скупили руины. Но всё это было в прошлом и не играет существенной роли. Ведь Харон налегает на древко, и город мчит мимо, подальше от глади лагуны и не тща Адриатики. Он помнит и шумы, и музыку, деньги и секс, славу и силу, и венчание власти – венчание с морем. И сотни гондол, и эскадры галер, изукрашенные борта галеасов и парчу корабля дождей, громадный и яростный праздник, которого нет, и который есть, и присутствует, и существует отчётливо, но незримо в памяти города, в сознаниях дворцов и полотнищах улиц.

Мы движемся в направлении праздника, к водам лагуны. Но лагуна темна, и праздник ныне не там. Под самыми куполами церкви Салюте струит электричество – восемь окон недостроя Веньеров льют потоки фотонов в затылки рыгающим лвам пьедестала. Доносятся звуки оркестра. Я знаю – дворец переделан в музей, но мы – не на выставку. Мы всё ещё на попойку, и дух Гугенхайма нам ни к чему. Нам нужен Стравинский, и гусли, и джаз, и стаи гепардов, и вопли ошипанных кур, и перечный флирт, и реки «Моэта» и «Мумма». Так воспоём здравие ночи рассудка и дремоте разума, и яви индейцев хиваро, да не проблеет аллектор над нашими головами!

Мы в двадцать седьмом году, в водах короля Виктора, в древнем городе дождей. И лучшее купе этого города несёт меня улицей его вод навстречу смерти. Нет, не моей, я погиб в сорок первом под Тобруком. А смерти вообще. Сладостной, вечной, глазастой и шестирукой Аннапурне, любви и нежности коей я алчу и жажду миллионы ночей, проносясь от проулка к проулку среди свиста шестёрки отточенных кос восхитительной жницы.

Я был в этом празднике, я бывал в нем не раз, я не помню, сколько несчётных раз я там был. Я знаю там всех, все знают меня. Чёрные траурные гондолы с бархатными балдахинами качаются в два ряда у крыльца. Трагические Хароны в узких трико, элегантных плащах и лихих треуголках покачиваются им в такт. Их бледные маски и меднеющие глаза, устремлённые к лучезарному провалу крыльца, оживают надеждой папье-маше и отполированной в кошельке меди на свободу от воли. Мы летим к ним по медленным водам – к моей цели, к колесу, к восьми ступеням, к светлой вершине, к людям, к музыке, танцам, сексу,

Габриэлю, ваннам, маркизе, сонму гепардов и взрывам шампанского, кострам из срубленных пальм и похмелью в лужице пунша, как было уже не раз, как бывало всегда, но когда-то должно закончиться, непременно должно, и пусть это будет сегодня. Пусть это будет сегодня. Господи, заклиная, прости, что не верил в тебя, заклиная, Господи. Пусть это будет сегодня. Дай мне сил, Господи, не оставь...

3

Смерть в Венеции. Если бы я писал книгу о своей нынешней жизни, или том странном подобии жизни, которым я теперь вынужден жить, я бы назвал её именно так. И это странно. Очень странно. Значит, что-то пошло не по плану. Надо подумать. Что может означать этот жирный крест на тыльной стороне левой руки? Соображай! У меня есть чернила! Нет, вряд ли. Я бы их тут же использовал. И денег у меня по-прежнему нет, а свои чернила Габи мне бы не отдал. Значит, я всё же был там. В палаццо. Этот крест – явно не христианский символ. Как ведь иногда бывает, если знаешь, что спишь и не можешь проснуться от кошмарного сна: когда тебя давит злая тёмная сила, или догоняет слепая, седая, растрёпанная старуха в пламенеющей рвани, – крестишь себе рот, или рисуешь на руке крест и просыпаешься. Но это – явно не то. Это напоминание. Я должен о чём-то вспомнить. Но, о чём?

Должна быть какая-то логика. Я всё ж таки человек с ясным умом и соображением, и вполне разумный и адекватный. Должна быть подсказка. Нет. Я должен был оставить что-то подобное. Чернила. Ручка. Запись! Это запись. Я не мог её нигде оставить и забрал с собой. Это – где-то на мне. Точно! Вот они. Листочки! Посмотрим!

Что за бред! Я убил их обоих? Это чушь. «Я... застрелил Габи и Вацлава». Чем? Из чего? Стоп! На кителе кровь. Я не ранен и не расшибся. Я застрелил Габи и Вацлава? Кто такой Вацлав? «Маркиза отказала мне в приглашениях». Да не может этого быть! «Я создаю предметы и стал опасен». Чем дальше, тем любопытнее. И что я теперь буду делать? Они... да кто они такие! Как они вообще на это решились? Они должны мне! Они оскорбили, они унизили меня! Они унизили её!

Вспоминай, вспоминай! Сколько сменилось спиц? Сколько было ступеней? Ты знаешь этот дом. Этот причал. Это крыльцо. Ты вошёл – что было дальше? Следующее воспоминание. Залы, залы, залы... Жёлтый электрический свет. Группы, группки. Конфетти, дождь. Шампанское. Какое было шампанское? С полосой. Да, полоса на бутылке. Панели, рояль. Габи, он налетел на Нижинского. Вот что за Вацлав. Вацлав вёл себя нагло. Был нетрезв. Сказал, чтоб Габи встал на стул и прочитал стишок, тот сказал, чтоб Вацлав сплясал. Или всё было наоборот? Не помню. Не помню! Это всё не реально! Это мои фантазии. И кровь

рассасывается, пропадает. Что я создал? Чернила, беретты, ситуацию? Беретты? Почему я подумал так? Читай внимательно! «Я создал беретты и застрелил Габи и Вацлава!» Бог мой, но зачем? Неужели я был так близко? Иначе почему я ничего не помню? Почему оставляю себе послания, вместо того, чтобы просто и спокойно анализировать ситуацию за чашечкой кофе? А вот и мой кофе. И чуть-чуть ликёрчика.

Давай ещё раз. Что сказал Габи? «Я попросил Габриэля дать мне пишущую машинку». А где я взял ручку? Это не моя. Нет чернил, и я её не беру. Как звучал разговор? Отвлекись! Рассей внимание. «Фазан красив, ума ни унции, Риеку спяну взял д'Аннунцио»... Гондолы. Лагуна. Львиные морды. Светящиеся рожи и этажи... Вот!

«...Антон...

пишущую машинку... оторопь... я... нелепо... как так происходит... читаю какой-то напыщенный текст... когда среди всем известных актёров, творцов, политиков, знати... всех этих известных и уважаемых, я бы даже сказал – почитаемых людей... они, конечно же, достойны всяческого признания... и вдруг среди них объявляется некто, кто известен им всем и в дружеских отношениях с ними всеми, но ни одному читателю не известен, и именно он оказывается героем повествования. Вам не кажется это несколько нелогичным? Надуманным, что ли. Почему не один из великих? Почему это ничтожество? Да и как он вообще оказался там, среди них? Вот это – нелепо. Я сразу откладываю подобный опус и говорю слуге, чтобы выбросил. Этак писать не надо. Никогда. И Вы так не делайте, пожалуйста. Обещайте мне. Иначе не дам машинку».

«Торпедо? Ундервуд?»

«Торпедо».

«Даю Вам слово, Габи. Я так не буду».

Так. Так, так... Машинка. Её здесь нет. А, зачем, собственно, она мне нужна. Что я собираюсь писать? Книгу? Глупости. Никогда этого не делал и начинать не стану. Уж никак не здесь и не сейчас. Может письмо? Трактат? Завещание? Зачем мне пишущая машинка? Зачем?

«Зачем? Ну, зачем Вы так? И раз за разом. Вам же сказали, открытым текстом сказали, что от Вас требуется. Вы что, дурак, прости Господи. Антон. Сосредоточьтесь. Кто вбил Вам в голову всю эту индийскую ересь? Какой-нибудь из товарищей по блиндажу? Нет

ничего более противного христианской религии, чем эти буддийские бредни. Злая, уродливая философия, притом существенно Вами изменённая и модифицированная. Ну, вот что Вы собираетесь делать? Чего желает Ваше предвечное Я? Вы утверждаете, что оно всё так же стремится к прекрасному, возвышенному, совершенному. Тогда зачем Вам оружие, это ведь мерзость, право. Испортите ещё один вечер. Хотя, я уже стал привыкать. И с Вами, чувствую, всё это очень надолго. Нам-то плевать, мы развлекаемся, но я уже начинаю подозревать, что это не только Ваш, но и наш ад».

«Что, хотите прекрасного?»

«Не думаю, что наблюдать, как мы собираем по полу ошмётки мозгов так уж прекрасно».

«Согласен. Поэтому, ты становись на стул, а ты пляши».

«Вот уж дудки. Нет, просто для души я, быть может, и прочитал бы что-то из нового, а Вацлав поднялся на подиум, тут всего-то восемь ступенек, и станцевал. Но для тебя, дурень, представления не будет. Никогда. Только проблем заработаешь. Промаешься пару недель в своей одиночке, – не то что стрелять, на коленях приползёшь. От самого крыльца бу...»

Раздались выстрелы.

4

Впервые я встретил Анну под куполом церкви Салюте. Вернее, это она меня встретила. Карнавал был кончен, а храм переполнен. Была Пепельная Среда. Несколько давнишних приятелей-чехов вступали в неё бок о бок со мной, славя в мыслях Григория Двоеслова и кляня начавшийся пост. Перед службой знакомая остановила меня, тронув за локоть, и сказала, что хорошая девушка хочет со мной познакомиться, но стесняется подойти. Я покраснел и промолчал. Но уйти пораньше повода не нашёл, как ни старался.

Уже на выходе ко мне подвели её. Невысокая, черноволосая, кареглазая, с пышной грудью и пышной причёской, в глухом скромном наряде, приличествующем дому Бога. «Это я!» – сказала она и улыбнулась. До последнего я надеялся, что это – глупая шутка моих приятелей. Я ошибался.

Она была красавица. От отца-еврея Анна унаследовала мистическое, колдовское свойство взгляда, чуть желтоватые белки глаз и тягучую восточную негу движений и жестов, что кажутся всякому европейцу порой столь чуждыми и чужими. Она была другой, в корне другой. И даже имя своё получила в честь какой-то таинственной местночтимой святой, сожжённой в древности на Востоке то ли персами, то ли парфянами.

Как я мог среагировать? Я испугался. Испугался сойти за болвана. И поспешно раскланявшись, ссылаясь на занятость, конечно же, – за него и сошёл. А после неделю кряду костерил и себя, и свой страх перед женщиной. Не перед этой. Перед женщиной как таковой.

Я долго копался в себе, чтобы найти объяснение. Хотя нет, я с самого начала его знал. Когда-то в глубоком детстве я шёл по улице, в сумерках. Было не людно. И мне встретилась проститутка – пьяная молодка в облезлых мехах и юбке с пятнами семени. Она прижала меня к калитке нашего дома, а я не мог ни открыть калитки, ни оттолкнуть эту гнусь. Она целовала меня вонючим, пахнущим рвотой и табаком ртом, смеялась, оставляла на лице следы алой помады и запах тлена. Я хорошо помню эту злую тёмную силу, – нет, не самой этой девки, а какую-то иную, что заставляла меня цепенеть от ужаса – и, переставая дышать, вжиматься в калитку. Случившиеся прохожие оттащили её от меня за волосы, а я с тех самых пор как огня чурался женского общества, но это было неправильно. Я вполне понимал это. Я был взрослый мужик, мне шёл девятнадцатый год, мой дед в этом возрасте полком командовал. Да и девушка в церкви была ну очень уж хороша. Потому я крепко решил исправить и впечатление, которое сам и создал, и странную, непутёвую холостую свою судьбу. Разбиться в лепёшку, если придётся, но покорить красавицу Анну. Лишь только кончится пост.

Я стал регулярно ходить к службам. Скажу больше – не пропустил ни одной. Я высматривал в храме её и мысленно называл своей Анной. Но найти её не выходило. При первой нашей встрече я был так сильно взволнован, напуган и раздосадован, что лицо её начисто стёрлось из моей памяти, сохранился лишь общий образ, общие черты. Я даже подсаживался втихомолку к нескольким девушкам, пока знакомые не заметили мне, что это до одури неприлично, упомянув, что Анна позабыла сюда дорогу, сочтя себя прилюдно униженной и оплётанной. Однако, после этого разговора, случившегося на Троицу, – вот как долго не оставлял я надежды, – она вновь стала появляться тут, это и впрямь была она, а не блажь моего сознания. Я собирался подойти к ней в следующую субботу, но меня остановил здешний клирик – убелённый сединами старик, маленький, но волевого склада.

«Юноша, – обратился он ко мне, – я понимаю, что Вы хотите сделать, и советую Вам трижды подумать. Вы, я вижу, человек мягкий, неопытный, да и небогатый. Я знаю Анну с пелёнок. Поверьте мне, я своё пожил, Вы ей не пара. Я не это хотел сказать. Она не пара Вам, а Вы ей. Если дело лишь в самолюбии, отступитесь. Так будет лучше. Девушке восемнадцать, воспитана она без отца одной матерью, когда-то актрисой, с головой ушедшей в религию. Делайте выводы».

Я выводы сделал. Она сидела на лавке под самым полотном Тициана, или Тинторетто, или кого-то ещё из великих и мёртвых. Я извинился, вставши перед ней на колени, как перед чудотворной иконой, сказал, что вёл себя как сущий тупица, что не встречал никого прелестней её, и предложил возобновить наше знакомство. Она опешила, но улыбнулась. На нас косились. Но мне было всё равно. Я громко сказал, что хотел бы поговорить с её маменькой, и вышли мы вместе.

С канала несло влагой. Лодки во множестве качались у пристани. В направлении Святого Марка тянулись хмурые тучи. Мы молча прошлись вдоль фасада, оставив чуть в стороне маленькую гувернантку, смотрели в простор и в глаза друг другу. Я читал в них дерзкое: «Это я!» И «Это я!» было моей наградой. Белые паруса мчались по ряби лагуны – туда, в Адриатику, к Триесту, Риеке, Рагузе, к дальним заморским странам, к иным континентам. Впервые в жизни мне было хорошо и спокойно. Рядом со мной была девушка, прекрасная девушка, моя девушка, и я чувствовал себя настоящим мужчиной, всё было мне по плечу, всё было мне подвластно.

Я усадил обеих, её и прислугу, в длинную стремительную гондолу, столь же выделяющуюся на фоне пришвартованных лодок, как в иных городах роскошная «Испано-Суиза» в ряду дорогих авто. Помахал на прощанье. И долго смотрел, как удаляется лакированный корпус оживлённым проспектом канала. Я стоял и смотрел, пока лодка и с нею любимое моё существо не скрылись из глаз, и древний город не казался уже таким гадким, и простор становился всё шире и шире, и звонко пел колокол у Сан-Марко, и гулко вздыхали колоннады дворца дождей, и волны ходили меж лодок в вольном размашистом ритме.

Ещё долго я простоял у ступеней церкви Салюте. Тучи, мятущиеся по небосклону, накрыли и этот каменный мыс потоками летнего ливня. Я вымок насквозь, но был весел, мечтателен, целостен, полон надежд и стремлений, желаний и воли. Дождь кончился, и новый радужный мост вырос над Каналь Гранде, над лодками, домами, городом, над иглами кампанил и людскими судьбами – чистый небесный мост. Отсюда в грядущее. Отсюда в грядущее...

Я грезил – в этом грядущем мы с красавицей Анной будем жить в маленьком домике в горах под сенью разлапистых лиственниц, толстых, могучих. На столбах из таких лиственниц покоился фундамент этого города. Я буду колоть дрова на толстой колоде, ступая ковром оранжевой хвои. А она, моя милая Анна, будет сидеть на пороге и смотреть на меня влюблёнными глазами, и улыбаться лучистой улыбкой, и гладить меня нежным взглядом по невыбритым скулам.

Страдание существует. Мир – это страдание. От страданий можно избавиться. И есть путь, избавляющий от страданий. Я пытаюсь его нащупать и обрести покой. Восемь спиц колеса верных сменяют одна другую, пока я достигну цели. Или – не сменяют. И – не достигну. Что всего вероятнее. Это путь нечёткой логики, ирреальности, сна. Но он подчиняется своим законам, своим правилам. Каждое действие приносит мне результаты. Но я их не знаю. Или не помню. Я не могу сравнивать. Или почти не могу. И не знаю, как выглядит цель, за которой конец... Так я думал, хлебая из чашки кофе с ликёрчиком, опротивевшие до омерзения.

Глядя на загнутые углы маленьких жёлтых листочков, я понимал, сколько раз часовая стрелка проделала полный круг. К концу подходил шестой. Я твердил, загибал и хлебал кофе уже почти трое суток. Я начинал понимать, сколь это невыносимо. Меня наказали. Отлучили. Поставили в угол, как шкодлившую недоросль. И тут, часам к десяти, – я, конечно, ещё раз проверил крыльцо, – у меня зародилась дичайшая мысль. Конечно, дичайшей она и была, но терпеть на губах дешёвую приторность мяты я больше не мог. Это было превыше моих сил и достоинства.

Ну и пусть. И пусть они дуются, сколько им влезет. Не хотят посылать за мной? Пару недель? А если нагрязнуть к ним самому? И без приглашений. Свалиться, как снег на голову. Что, если так? Надо лишь выбраться из квартиры. Стоит обдумать.

Я должен пройти переулками до ближайшего моста, перейти Каналь Гранде, и – вот уж я у дворца. Принимайте, мерзавцы. Это понятно. В этом есть свои плюсы и минусы. Начав движение, я тотчас запущу колесо. И добрую половину пути промахну через город, а не в вертепе маркизы. Будет в новинку, но удивить меня уже сложно. Да и на открытом воздухе как-то получше и поспокойнее. Есть, так сказать, куда убежать и где спрятаться. Если с мостом будут проблемы, – к примеру, я его не найду, – пересечь канал можно и вплавь. Попытаться. И останется половина. Держать в узде разум, держать под контролем чувства. И руку на пульсе. Хоть развлекусь. Хуже не будет. Но как, чёрт возьми, выбраться из квартиры?

Вновь я спустился вниз по узкой скрипучей лестнице в подобие галереи и щёлкнул рубильником. Коридор выходил в переулок, где паре лодчонок не разминуться, а сырые просевшие стены от века ярились полями осыпавшейся штукатурки. У кромки воды из стены дома торчал кривой парапет в полкирпича шириной, но этот путь явно был бы последним, который я выбрал. Была ещё дверь нижней квартиры, но я знал – квартира эта пуста. В том смысле, что внутри

нет вообще ничего – мебели, стульев, окон, пола, потолка, стен... Зияющая чёрная пустота. Как-то раз я открыл эту дверь, поддев у косяка топором. Пошарил рукою вокруг. Там даже обратной стороны двери и той не было. Сколотить из мебели плот? Глубина в переулке была метра два. Когда-то была. Сейчас я судить бы не взялся. При взгляде на эту поверхность пересекать Каналь Гранде вплавь мне вмиг расхотелось. Да и на воду эта «вода» теперь походила не слишком. Чернильная, маслянистая, жирная. Впору заправлять ручку. Остаются окна квартиры.

Я поднялся наверх и сорвал занавески. Ставни с дощатыми жалюзи были распахнуты настежь. Наверное. Если они вообще были. Нет, с борта гондолы я видел их чётко, но с борта я видел и свет, изливаемый настольной лампой, придвинутой к полотнищу зелёной шторы. Здесь же передо мною было чёрное зеркало. Матовое, неподвижное. Как поверхность воды внизу. Дикость. Я пошарил в карманах, но ручка лежала на столике. Я отвинтил крышку, покрутил поршень и ткнул пером в черноту окна. Набрать хоть сколько-нибудь для письма я не успел. Из места укола потекла тонкая струйка, по поверхности зеркала побежали бледные трещины. Я бросил ручку, и первое, что пришло мне в голову, – что я не успею надеть фрак и снова пойду в парадной военной форме, которую отгладил в последний раз перед заброской корпуса в Киренаику. Второе – что я испачкал форму чернилами. А дальше... Дальше я уже, сломя голову, мчался вниз по лестнице, забыв и о ручке, и о планах, и о кофе с ликёром. На последних ступеньках я услышал, как зеркало лопнуло, и поток черноты ворвался в комнату. Дверь я не захлопнул, и он устремился следом. В коридоре я махом перелетел шаткие низенькие перила и оказался по ту сторону дома. Над мраком, под мраком и рядом с ним. Водопад гнилого мазута хлестал рядом. Квартиры моей больше не было. Несколько стульев пролетели мимо, ударились о стену напротив, доплыли до самых моих ботинок, медленно утонув под ногами. Последовать их примеру как-то не улыбалось. Но другого пути уже не было. Поспешно сняв обувь и сунув носки вовнутрь, я связал полоски шнурков у самых эглетов, чтобы подвесить на шею, и спиною к стене стал пробираться по парапету, опираясь на холодные скользкие кирпичи пожалуй что одними пятками. Страха я не чувствовал. Только решимость. Это была игра. Города и моя. Она обещала быть любопытной. Поинтересней трёх суток ментального мазохизма. В любом случае путь был только вперёд, возвращаться мне некуда. В любом случае путь был.

Сколько я так прошёл, сказать трудно. Может – двадцать метров, а может все тридцать. Парапет оказался на удивление сносным, даже чуть-чуть пошире, чем представлялся. Обман зрения, а может, и

кривизна стен. Лишь в двух местах под ногой выпали кирпичи. Конечно, осторожничая, я продвигался со скоростью черепахи. Когда на моём пути попало окно, я заглянул в него и, увидев что внутри комната, проник внутрь. Это была дрянная нижняя комната, оплесневелая, затхлая, всю обстановку её составляли две жестяные койки с крашеными спинками и изъеденными солью и ржой сетками. Единственная дверь вела наружу. С опаской открыв её, я обнаружил чудесный в прошлом внутренний дворик, сработанный кем-то в арабском стиле в те годы, когда узорчатый кафель и пятна эмали казались милым чудачеством, а не вычурной пошлостью. Мимо каррарской чаши фонтана, мимо куцых пеньков проследовал я сквозь колодец отринутой неги, коридором, прихожей и вышел на улицу, мощёную узкую улицу. Я стоял на твёрдой поверхности, я был одет, относительно чист, относительно брит, готов к предстоящим подвигам во имя своей подзабытой цели. У меня были варианты, и я готовился сделать выбор. Главное, что я знал, – я запустил колесо, вероятно впервые запустил его вне палаццо Веньеров, и теперь каждое принятое мною решение влияло на результат. Завязав шнурки, я рванул к ближайшему мосту через Каналь Гранде.

Интерлог

Черновик письма неизвестному адресату, шрифт машинки «Торпедо», предположительно вторая половина 20-х годов. Публикуется в подчищенном виде.

Дорогой друг.

Вы знаете, в Италию я приехал на время, только чтобы уладить дела. Я не вернусь сюда больше. По крайней мере, сейчас думаю, что не вернусь. Я продаю и квартиру и тот чудесный домик в Тироле, где Вы так любили отдыхать летом. С ним связано множество воспоминаний, и воспоминания эти меня угнетают. С квартирой в Венеции почти то же самое, и я остановился в отеле. Я не смог побороть себя и войти туда. И я не виню себя в этом.

Относительно моих планов на будущее – всё просто. Я покупаю дом в Лондоне, поэтому вскоре какое-то время мы с Вами сможем видеться чаще и, сидя у камина или в каком-нибудь кабачке, мирно предаваться воспоминаниям о войне, которую мы почти не застали; о Венеции, с которой у нас обоих столь много связано; о юности, от которой мы не взяли и десятой доли того, что должны были взять.

А после я уезжаю в Индию, и я отнюдь не сошел с ума. Я рассуждаю так: что не взял я от юности, то должен восполнить сейчас. Мне почти двадцать пять лет, меня ничего не держит, после

получения мною щедрого и столь неожиданного наследства – семьёю не обременён. Обременён же лишь грузом несбывшихся надежд и неприятных мыслей о прошлом.

И именно сейчас я начал задумываться о подлинном смысле моей жизни, моего подчас нелёгкого существования, о пути, что мне предстоит, о том, что суждено мне достигнуть. Мы знаем, дорогой мой Антон, что горшки обжигают не боги. Несмотря на значительные трудности, прежде всего политического характера, в этом году мне удалось взойти на Эльбрус, высочайшую точку Европы; в прошлом я поднялся на Большой Арарат, что незначительно ему уступает. Так увлечение, привитое мне отцом, переросло в нечто большее. Пожалуй, что и в призвании. А те несколько лет в Италии, сразу после войны, я только и спасался, что Доломитами.

Сейчас меня ждёт Индия. Гималаи. Намереваюсь для начала, как я уже писал Вам ранее, осмотреть горный массив Аннапурны. Да, именно эта вершина меня и интересует. Более восьми тысяч. Я слышал, будто монахи поднимаются в горы для медитации и поста без всякого снаряжения. Так неужели же я не сумею проделать того же, вооружённый техническими возможностями нашего века? Вы знаете, хотя в отдельных житейских вопросах я довольно застенчив и всегда признавал это, – в достижении поставленных целей я всегда иду до конца. Видите, те бои за Венецию, хоть в чём-то, да сделали нас лучше. Мне было едва шестнадцать, а Вам?

Ладно, мой добрый друг, у нас ещё будет достаточно времени вспомнить всё это за бутылочкой порто. Но, прежде чем попрощаться, позвольте поблагодарить Вас, что замолвили словечко маркизе. Я с удовольствием посещу её вечеринку – это «грандиозное мероприятие», о котором уже всю судачат. Приглашение я получил. Надеюсь не прослыть скучным, хотя на самом деле, в свете предстоящих событий, это не столь уж сильно меня беспокоит.

Часть вторая

6

Итак, я собрался с боем ворваться в чистилище, и первым шагом на этом пути был штурм переправы. Покончить с этим я хотел как можно скорее, поэтому между ближайшим к дворцу, Академическим, и ближайшим ко мне, мостом дель-Понте, выбрал ближайший ко мне. Приём уже начался, и я не собирался опаздывать на срок, больший, чем предписывали правила вежливости. Насчёт «рванул», это я конечно, погорячился. Кварталы были темны и пустынно, а в иных проулках, куда не проникала полночная луна, хоть глаз выколи. Да и

город я помнил не очень хорошо, и хотя он не столь уж велик, заплутать без источника света... А кстати, почему без источника? Я покопался в кармане и, уйдя в него по локоть, достал-таки электрический фонарь. Не слишком мощный, чтобы приглушить нервы, но достаточно сильный, чтобы не растянуться где-нибудь на ступеньках. Временами я вообще не узнавал ни каналов, ни мостков, ни проулков, словно этот лабиринт сам себя видоизменял и строил, приноравливаясь к темпу моей ходьбы, отслеживая его по звукам шагов, и взирая пустыми глазницами оконных проёмов. Но двигался я совершенно правильно, шаг за шагом приближаясь к заветным мраморным галереям, не встречая вокруг ни одного странного силуэта, ни одной сомнительной тени, ни одной нави.

Достигнув переброшенной через канал арки дель-Понте, я быстро взбежал по ступеням между двумя рядами закрытых и заброшенных лавок на самый верх и взглянул наконец на город снаружи его мёртвых объятий, снаружи причудливой толпы слагающих его зданий.

Кварталы были темны, и тёмн приручённый Стикс. Вечная дырка луны зияла над ними среди россыпи звёзд, взыскуя живого внимания, как было каждую ночь, если день вообще сюда проникал, в чём я был не слишком уверен. Над дальними крышами чертили небо огни прожекторов, взлетали гирлянды разноцветных огней – совершенно беззвучно – и опадали, озарив на мгновение толщу тягучего воздуха. Туда, на этот маяк, и держал я свой путь. Решив не терять времени даром, я резво спустился по каменной лестнице к кварталам другого берега. Но, едва сделал пару шагов вовне, тут же остановился, рефлекторно вращая фонариком. И было от чего. Я думал, что меня нельзя уже удивить. Ну-ну... Никаких кварталов там не было. Никаких стен. Никаких домов. Вообще. И, сказав «вовне», я ничуть не преувеличил. За мостом не было города как такового, но были его мостовые... Их паутина, толщиной средних размеров булыжника в точности повторяла контуры исчезнувших зданий. Была сетка каналов, была лагуна, тонкой полосой обозначавшая горизонт. Всё остальное стало подобием космоса. И надо мною, и подо мною было звёздное небо с гигантским белесым кольцом Молочной Дороги. Я даже рефлекторно присел. Но то был лишь импульс, совладав с ним я выпрямился и подошёл к краю. Пространство заметно тянуло. Я бросил за мостовую фонарик. Он описал дугу, затормозил и, на краткий миг застыв на уровне моих ботинок в двух десятках метрах за границей непознанного, с ускорением полетел вверх, растворившись во мгле мироздания.

Я понял, что мост не поможет. Ни один мост на Каналь Гранде. Меня должны переправить. Иначе я попадаю в совсем иной слой

реальности. И вновь зашагал я наверх, мимо лавок, над чёрной водою, но уже в обратную сторону, достав из кармана такой же фонарь и надеясь забыть о случившемся. И к Академии я не пошёл. Мне были нужны гондолеры. А впрочем, любые лодочники. Рыбаки. Долблёнка и хоть кто-то с веслом. Срезая квартал, двинул я напрямик до Сан-Марко, вынырнув из плотной застройки ходом, что под часами. Я помнил – там был причал.

Площадь накрыли чернила. Где-то по шиколотку. Корпуса кособоких трагетто застыли у полосатых столбов вдали, у прежней границы лагуны. Там были фонари. Были фигуры. Всё верно. Я шёл к ним довольно долго, всерьёз опасаясь, что площадь не кончится. Движения становились натужными, медленными, надсадными. Когда я добрёл до новых Харонов, мне казалось, что близится утро, – на деле было не больше полпервого ночи. Всё равно я опаздывал сильно. В лодках стояли гребцы в тёмных жакетках, косынках и масках. Стареньких масках давнишнего карнавала. Забытые всеми, они удивились идущему по чернилам к их скромным лодчонкам. Но виду не показали.

«Господа, – сказал я, опираясь на грубую доску над бортом, – мне нужно на праздник. Кажется, я задержался довольно прилично. Во сколько мне обойдутся ваши услуги?»

Ближайший Харон показал мне два пальца.

«Позвольте, мне нужно к палаццо Веньеров. Тут рядом!» – махнул я рукой в сторону фейерверков и куполов церкви Салюте.

Паромщик вновь показал мне два пальца. Я знал, что денег у меня нет, но, покопавшись в бездонном кармане, вытащил две медных монеты. Паромщик ослабил, принял монеты и сунул их в прорези глаз маски. И медь замерцала, и весло поднялось над каналом. Я спешно забрался в лодку, попутно снимая ботинки и выжимая штанины, но мы никуда не поплыли. Что ещё? Паромщик коснулся пальцами рта и показал на меня. Пришлось опять покопаться в кармане, достать третью монету и положить себе в зубы. И хоть я чувствовал себя глупо, – видимо, так ему было привычнее, потому что лодка отчалила и стала нехотя втягиваться в аорту пустого протока.

Мы тихо скользили мимо жемчужных куполов чумного храма Салюте, мимо мощёной площадки, где впервые стоял я с любимой, но я не помнил о ней, уже не помнил. Я спешил к высокому постаменту с мордами львов, блюющими в припаркованные гондолы, и выросшему над ними дворцу – барочному уродцу восьми окон по фасаду, с расхристанным зимним садом, стаями дрессированных хищников в анфиладах и отказавшими мне во внимании старыми моими знакомцами.

«Мне надо попасть вовнутрь, – думал я, – а там уж посмотрим. А там уж поборемся. А там уж покрутим восьмеричное колесо. Что знает

об этом паромщик? Да ничего. Он изгой, он чужой в этом городе. И он точно мне благодарен за подработку – за два огненных медяка, что покрыли его глаза, за возможность быть нужным. Может – достанет себе выпивки, может – добудет и новую маску. Или даст взятку гильдии гондольеров. Надо, грешным делом, и фонарь ему подарить. Я себе при случае ещё сделаю. А мне?.. Мне не принципиально. Несколько сотен метров я могу потерпеть и с монеткой во рту. Всё равно я живее их всех. Это лишь грёбанный символ, который ничего для меня не значит с тех пор, как я окончательно здесь поселился. Надеюсь – не навсегда».

7

Домик в горах я действительно приобрёл. Купил. Вернее, выкупил. Поначалу мы снимали его, приезжая на неделю или на две. Небольшой поток в узкой долинке, чудесный вид на скальные пустоши, кривые стволы лиственниц. Лиственницы мне нравились больше всего. Было в них что-то болезненно-первобытное, неуклюжее, диковатое, точно как в нашей странной любви. Особенно хорошо было осенью. Домик – совсем небольшой, крохотная банька, сарайчик – всё утопало в золоте хвои, жёсткий утренний воздух серебрил дыхание, я орудовал топором, наращивая поленницу, Анна готовила на веранде, её мать что-то читала, не помню уж что, время от времени недовольно бурча, но скорей для проформы, чем по какому-то поводу. Ночи мы с Анной проводили раздельно, вечера же, долгие осенние вечера – вместе. После короткого чаепития, ставшего своеобразной традицией, ритуалом, мать удалялась к себе, мы же садились рядом перед ярким пятном камина, протягивали ноги в вязаных шерстяных носках прямо к огню, а то и укрывались едва не с головами колючим верблюжьим одеялом. Мать время от времени заглядывала – оценить, чем мы там занимаемся и не делаем ли чего не положено, но удовлетворённо бурча: «Дети греются...» – всегда уходила ни с чем. Ведь дети и вправду грелись. Ведь, несмотря на свой возраст, мы были и вправду дети. Мы не знали, что делать друг с другом.

Поначалу это незнание мне вовсе не досаждало. Пока посиделки у камина не перестали устраивать. Конечно, перестали они устраивать не только её. Но... Я начал ощущать во всём её поведении, в жестах, взглядах, изменениях в манере держаться, подчас мелких, почти и вовсе неуловимых человеку со стороны, что девушка ждёт от меня каких-то действий, а каких?.. Нет, чисто теоретически я представлял – каких, но необоримая стыдливость, связанная в основном всё с тем же возрастом, пресекала во мне всякое желание попробовать их совершить. Я не знал, что мне делать, она терпеливо ждала действий. И бредовая

ситуация эта несказанно бесила. Да, до тех пор у меня не было девушки. Никогда. Вообще. В годы ученичества я шарахался их, как огня. Потом я сбежал на фронт и перестал об этом задумываться. Пытался выжить на останках былой родины. Приехал в обескровленную Италию. Насилу познакомился с ней, с моей Анной, и начал верить, что всё наконец правильно. А раз правильно, – должно получаться само-собой. Но само-собой отчего-то не получалось. И каждый раз, когда я видел в её глазах томление и тревогу, – передо мной вновь вставал образ той шлюхи из детства. Всё, что я мог с этим поделаться, я делал – брал двустволку и шёл в лес отдышаться.

Однажды она перехватила меня в дверном проёме крыльца.

«Рассказывай!» – потребовала она.

«Нечего рассказывать...»

«Да неужели? Вернёмся-ка... Чего стоять на пороге?»

Она выслушала меня очень внимательно. Не проронила ни звука, пока я довольно сбивчиво объяснял, или скорее пытался ей объяснить, что со мной происходит. Она дослушала до конца и ещё долго молчала.

«Вердикт?» – нарушил я тишину гостиной.

«Не ходи больше никуда. Зайцы не виноваты».

«И всё же?» – настоял я.

Она ещё помолчала, потом вздохнула: «Завтра отправим мать в деревню за молоком. А там уж... вместе как-нибудь разберёмся... с нашей общей проблемой». И деланно улыбнулась.

Путру, когда мать ушла с пустыми бидонами вниз по тропе, мы с Анной расположились на койке напротив камина, той самой, где коротали долгие вечера. Полулёжа на сбитых подушках, мы долго глядели – каждый в глаза другому. Потому-то глаза её я так хорошо и запомнил: веки, будто подведённые тенями, столь явно просвечивали сквозь тонкую кожу микрокапилляры, желтоватую роговицу, бурую радужку, не тёмную, цвета некрепкого чая. Она разглядывала меня, не мигая, потом растегнула пуговицы своего домашнего облачения – растянутой шерстяной кофты, какого-то древнего неведомого фасона – положила голую руку мне на плечо.

«Оближи губы, – твёрдо произнесла она. Я повиновался. – Теперь обними меня за плечи... И целуй».

Помню, как медленно я исполнял её приказание. Эти несколько, на деле малых, мгновений слились для меня в долгий путь, где постепенно, плавно перетекая одна в другую, сменяются картинки пейзажа. Сначала Анна передо мною была вся – вся выше колен, потом по грудь, потом – только лицо и, наконец, остались одни глаза. И те напоследок слились воедино, когда я коснулся губами её липких, едва тёплых губ, что представлялись мне столь жаркими, когда я почувствовал лёгкий

привкус её слюны, её – чужого было – дыхания. Чуть сладкий, чуть кисловатый, мало с чем сравнимый вкус только что ещё чужой жизни. В мгновение ока он изменил мой собственный родной и привычный вкус, что был знаком мне с первых дней в этом мире, столь обыденный, что я редко когда его замечал, и теперь вот заметил в сравнении.

Да, здесь не было ничего страшного, ничего стыдного. Я увидел как слитный её глаз, влекущий меня продолжать, постепенно начал терять глубину, обмелел, она сморгнула, ресницы её увлажнились. Я сдвинул тонкое кружево с её плеч и освободил правую грудь с растёкшимся карим соском от прикосновений ткани. С тех пор как матушка последний раз кормила меня собственным молоком, это была первая женская грудь, которой я дотронулся ртом, и первая, которой дотронулся сознательно, а не повинувшись инстинктам. Анна всё делала правильно, нащупывая путь, она вела меня по узкой дороге в сумерках к нашей калитке, ограждая от пьяных молодок. Она была мой случайный прохожий, мой тайный спаситель, которого я дотоле не знал...

И тут я почувствовал, что чистота ушла. И ушла безвозвратно. Эта внезапная сырость и холодок, стекающий по ноге где-то в подштанниках, были хорошо мне знакомы. Я содрогнулся, Анна распахнула прикрытые веки и уставилась на меня непонимающим взглядом.

«Я... Я испачкался... – произнёс я взволнованно, подавляя меж тем засевшее под кадыком чувство гадливости. – Я... я сейчас...». И выскочил вон.

«Ты куда?» – крикнула она мне вслед. Но слов я уже не расслышал. Я сбежал вниз по тропе, этой сплетённой из корневищ золотой лестнице, вниз к мосткам у ручья. Я хотел хоть немного отмыться.

Когда я вернулся, её уже не было, как не было и моей германской двустволки, если честно, и для меня-то тяжеловатой. В тот день долго громыхало по лесу. Анна извела весь наличный запас патронов, так что уже мне пришлось спускаться в деревню. Пальба звонко носилась долиной и эхом гуляла в каменной вышине почти до полудня, и временами начинало казаться, будто война вновь заглянула в эти места.

8

«Я полагаю, Будда совершил для индийской религии то же, что спустя пять веков Иисус – для евреев. Показал, что ветхому уму не достичь цели. Что жрецы ведут паству к страданиям. Это же восхитительно – не побоюсь – революционно! Наплевав на волю богов, ценой собственной воли взломать миропорядок и исключить себя из него!»

«И это кажется Вам восхитительным? Да нет ничего противнее традиционным католическим ценностям. Вы, Вацлав, хоть не католик, но, я полагаю, должны понимать. А, всё же католик? Наверно, из-за

декадентской, разлагающей сущности, тяга к учению Будды в наше время и была столь сильна».

«Вы находите это учение разлагающим, Габи?»

«А Вы не находите? Смотрите, какова цель христианина? Создать себя. Сотворить личность. Сделаться сосудом любви в земном царстве страданий и обрести вечное счастье в объятиях Бога. Чувствуете: страдания способствуют созиданию. А цель для буддиста? Сбежать от страданий путём ментальной самоаннигиляции. Хороша цель! Самоубийство личности, да не просто в одном воплощении, а в вечностном масштабе. Чтоб уж наверняка. Ведь это позор. Трусость. Это – как утопиться в канаве...»

Я делал вид, что внимательно слушаю, но на деле не слушал, и окружавший меня разговор, сам собой пропечатываясь во мне, становился всего лишь фоном для ощущений. Мы были в зале, и нас было много. Высокий потолок, лимонного цвета стены, филёнки белых дверей. Не покидала мысль, что зал этот я видел где-то в ином здании и в иное время. Он, видимо, был приспособлен под танцы, и хотя не танцевал никто, публика, сколь блестящая, столь разношёрстная, теснилась у столиков и вдоль простенков. Меж фраков и сюртучных костюмов, над которыми беглый мой взгляд различил две чалмы, тут и там мелькали дамские туалеты и кисейные платья дорогих проституток.

Вскоре я изменил своё мнение: тут что-то другое, поскольку танцы явно происходили и где-то рядом, – из-за закрытых дверей отчётливо слышались зажигательные ритмы латино. Но широкое пространство в центре оставалось незанятым, и я понял, все мы чего-то ждём.

Ждали недолго. Дверь распахнулась, два негра внесли в зал хрупкое рекаме, четверо вслед – громадный бильярдный стол под синим сукном. За ними прошла женщина, держа за руку негритёнка. Она была явно немолода, что оранжевостью всклокоченных волос подчёркивалось до чрезвычайности. Слуги, установив поклажу в центре зала, уселись с двух сторон на тахту, а стареющая особа стёрла рукою пыль с полированного бортика шестиногого реквизита, грубо попеняв на слабое освещение, с чем я бы не согласился.

«Хочет произвести впечатление», – подумалось мне.

«Что Вы, Лу это ни к чему», – услышал я рядом и решил прекратить думать попусту, но Лу уже обратила на нас внимание и жестом пригласила подойти ближе, что мы трое и сделали.

«Габи, – спросила маркиза, расставляя на сукне кегли, – не хотите сыграть?»

«А что это?» – без всякого энтузиазма поинтересовался мой собеседник.

«Это старая такая игра. Да не волнуйтесь, здесь всё просто. Вот три шара...»

«А где лузы, Лу?» – удивился Габриэль.

«Ах, милый мой Габи, зачем же Вам лузы? То, что Вы сдали Риеку, ещё не делает Вас в моих глазах лузером!»

«А вот в моих делает! – воскликнул Вацлав. – Клоун, ей-богу!»

«Подстилка!» – нашёлся Габи, мгновенно перехватив занесённую для пощёчины руку.

«Господа! – вскричала маркиза. – Я так понимаю вашу ревность, но она совершенно напрасна, я люблю вас одинаково и никогда не отдам никому предпочтения. Но игра. Итак, Габи, глядите. Четыре кегли. Вбрасывайте, вбрасывайте. Теперь берите кий. Тони, дай мне кий!»

Негритёнок протянул маркизе четырёхгранный, загнутый кверху шест, напоминающий пастушеский посох.

«Да не этот, бестолочь! Это хлам, и мы им играли вчера. Дай и дяде Габи нормальный кий. Ну вот. Берёте кий и бьёте красного шара. Вы должны попасть хотя бы по одному белому и при этом не сбить ни одной кегли, видите, маленькие такие хрустальные столбики в центре. Все просто».

«Ты меня извини, Лу, – наигранно виновато произнес Габи, – но играть я всё равно желания не испытываю. Мы с джентльменами ведём беседу и, надо сказать, довольно-таки увлекательную, и я предпочёл бы её продолжить».

«И о чём разговор?» – спросила маркиза.

«Влияние эллинов на буддийское искусство Афганистана последних веков до Христа. Мы делаем далеко идущие выводы».

«Ну, хорошо, – нехотя согласилась Лу. – Рада, что Вы считаете Вацлава джентльменом. Только, прошу Вас, не заходите в далёких своих выводах чересчур далеко. Вацлав, а Вы сами не желаете сыграть?»

«Нет, Лу. Ты же знаешь, я не любитель спортивных развлечений. Нагрузок мне и так хватает».

«Ага, с любовничками в гримёрке!..» – ввернул Габи, и получил-таки по лицу. Пришлось мне их разминать.

«Хватит! – рявкнула Лу. – Антон опять вас растаскивает. Как дети малые».

И будто только сейчас обратила ко мне уголья глаз, вдруг ставших огнями – под цвет её лохм: «Кстати... А что, вообще, он тут делает? Его ведь не приглашали!»

«Он сам пришёл», – с вызовом, точно передразнив, сказал я о себе в третьем лице, отталкивая наседавшего Габриэля и поднимая с паркета Вацлава, который стал поспешно отряхиваться.

«Позвольте, я объясню, – остановил он меня, смахивая последние пылинки с рукавов фрачного пиджака и поправляя платок в кармашке. – Он пришёл сам, Лу. Приплыл на лодке...»

«Но за ним не посылали лодки!» – зло возразила маркиза.

«Он сам её нашёл и нанял паромщика из шелупони на площади. По-моему, такая настойчивость достойна всяческого уважения».

«Положим, он нашёл лодку, – допытывалась маркиза, пылая очами, – положим, нанял паромщика и прибыл в палаццо. Но как, чёрт возьми, он пробрался вовнутрь? Как прошёл мимо консьержа? Крис – что, уснул что ли?»

«Лу, ты же знаешь, Крис никогда не спит!» – вдруг сбился на шёпот Вацлав.

«Что же тогда?»

«Всё куда проще, подруга. Он мёртв...»

9

Маркиза расхохоталась, изумлённо, заливисто, как-то даже по-детски: «Милый, я знаю, что он мёртв, он уже был таким, когда я его нанимала!»

«Нет, я, конечно, не это хотел сказать. Всё никак не могу привыкнуть. Он был бы мёртв, если бы уже не был мёртв...»

«Дайте уж лучше я сам расскажу, – решительно вмешался я в разговор. – Так будет куда понятнее. Когда, выйдя из лодки, я направился вверх по крыльцу, Крис, этот ваш здоровенный детина, спросил у меня приглашение, а у меня его, ясное дело, не оказалось, так как меня, как мы уже выяснили, никто никуда не приглашал. Он взялся меня останавливать, я стал пытаться его ударить...»

«Но он очень сильный, его нельзя просто ударить...», – возразила маркиза.

«До меня это довольно быстро дошло. Только пробуешь выбросить руку вперёд, как чувствуешь, что она тормозит, замедляется и едва трогает место, куда собирался двинуть как следует. Вот какое цепкое у вашего Криса внимание. Затягивает, как масло...»

«За это я его и взяла», – удовлетворённо хмыкнула Лу.

«Ну, а я-то не собирался затрогать его до смерти, надо было что-то предпринимать. Он же тем временем взялся меня душить. Душил он меня, душил. Не могло же долго так продолжаться. Я покопался в карманах – в одном, другом. Нашел монету. Медную, как всегда. Заплатил лодочнику. А тот тоже мужик крепкий, взял, да и снёс веслом вашему шкафчику антресоль. Я его понимаю, хотел подзаработать. Существовать-то на что-то надо».

«То есть, ваш лодочник снёс голову моему консьержу, да ещё за жалкий медяк?»

«Ну, не совсем. Я ему фонарик отдал. Электрический. Простенький такой. Не Бог ведь что, но всё – в помощь».

«И лежит сейчас твой охранник, Лу, на холодном полу, прямо под вывеской «Добро пожаловать в ад!» – съязвил Габи. – Ну, ничего, очухается. Проходит с месяцок в шейном воротнике. Неприятно, кто спорит, но в целом-то, не критично. Нет, я не оправдываю поступок Антона, он у нас тот ещё фрукт, но что ему было делать?»

Маркиза задумалась.

«То есть, он лежит не в доме?» Вацлав кивнул утвердительно. «И Антон не сам это сделал?» Мы все отрицательно покачали головами. «Что ж, друг мой... Как ни прискорбно, у меня нет повода, чтобы выгнать Вас с вечеринки...»

«Так я и думал!» – саркастически бросил я.

«Что, простите?» – не поняла маркиза.

«Не прощу, – отвечивал я. – Не прощу, и не надейтесь. Я знаю, на что вы рассчитываете, знаю, для чего это всё. И если вы воображаете, что я прощу вас, не зная, что вам прощаю, то вынужден разочаровать. Этого не будет. Не такой я дурак, чтобы остаться здесь, без квартиры, один на один с проблемами, о которых знаю лишь то, что они есть».

«И впрямь – не дурак», – улыбнулась маркиза. – «А как Вы относитесь к гомикам?» – тут же спросила она.

«Да как сказать, – я покосился на Вацлава. – Как к чахоточным...»

«То есть?»

«Да вроде люди как люди, а присмотришься, – я приложил руку к губам и продолжил уже шёпотом, – противно...»

Лу расхохоталась: «Тоже мне, остряк... Не обижайте моего друга, слышите, он болен, и вообще тут случайно. Да, и повлияйте на Габи. А так – можете оставаться сколько угодно, только, пожалуйста, переоденьтесь, на Вас же будут коситься».

Я оглядел свою мятую и перепачканную чернилами форму.

«И железку зачем-то взяли...»

Ощупав бок слева, я и впрямь обнаружил там старую мою саблю, с эбонитовой рукояткой, чешским львом на латунном эфесе и в ножнах пустынного цвета. Где же она сейчас?..

«В вашей могиле под Тобруком, – сказала маркиза. – По дороге на Дерну. Унылое местечко. Пустыня, песок. Бывали? Нет? Забавный Вам сделали памятник – выбелили бочку из-под мазута и набили камнями. Восемь бульжников и череп осла... Уверена, к Вам этот череп не имеет ни малейшего отношения, а потому – выбросьте то, чему здесь не место, и надевайте, наконец, фрак. Вы не слишком сутулы, Вам точно пойдёт».

Не то чтоб я решил не казаться выучным. Просто подумал, что во фраке со своими береттами буду выглядеть куда как опаснее. Простенок передо мною меж тем заняло громадное зеркало, что было очень удобно. Я подошёл и взглянул на себя напротив.

Я-напротив был просто образчик хорошего вкуса. Костюм сидел как влитой, матово светились штиблеты, и даже бабочка мне на удивление шла. А уж помады в волосах было, пожалуй, даже больше чем у Нижинского. Я прищёлкнул каблуками от удовольствия, а из глубины зеркала ко мне подошла красивая женщина в чёрном туалете с двумя борзыми на поводке. Только гипнотические огоньки угольных глаз выдавали в ней хозяйку дворца.

«Псы не кусаются, – сказала она. – А Вацлав постарался на совесть. Да не кривитесь. Вам и вправду идёт быть хорошеньким». Она взяла моё отражение под руку: «Старик Болдини сделал меня такой. Таинственной, и с собаками. А я, признаться, предпочитаю животных поэкзотичнее, да и цвета поярче».

«И мужчин помоложе?» – не выдержал я.

«И шуточки поумнее», – парировала она.

Я провёл ладонью по лацкану, а моё отражение мне подмигнуло.

«Что?» – кивнул я ему.

Я-напротив повёл подбородком вправо. Увидев, что понятнее мне не стало, он поднял руку к глазам. Я осмотрел ладони и с яростью заметил метку между большим и указательным пальцами. Там красовалось слово «Вперёд». Что, я выпросил у Габи ручку? Наверяд ли. Слово не было написано. Оно было напечатано. Шрифтом машинки «Торпедо». Я был готов побожиться. Но что это значило? Я в костюме с иголки стою перед зеркалом. Я прибыл на бал с модной красавицей, которая, похоже, от меня без ума, вон как глазки горят. Здесь собрались мои друзья, я всех их хорошо знаю, а кого не знаю – мне тут же представят. Пора выпить шампанского и хорошенечко покурить в компании занзибарского султана, он, говорят, выпускник Оксфорда и очень хотел узнать, не видал ли я ковчега на Арарате. И – танцы, танцы. Конечно же... Как давно я не испытывал этого удовольствия столь безапелляционно прикасаться к женщине на публике, к рукам, обнажённой спине, крутым крепким бёдрам... А почему, собственно, давно?... Чужь собачья, не может этого быть. С такой-то красоткой. Но нельзя же идти вот так. Замаранным этим дурацким словом. Я уже послюнил было палец и начал слово стирать, когда франтоватое отражение плевком амальгамы схватило меня за руку... Металлический холод, пронизавший меня сверху донизу, почему-то оставил во рту послевкусие мятного ликёрчика. Лицо очаровательной спутницы тут же подёрнулось мелкими морщинками, а волосы её окрасились в оранжевый цвет.

«Идите к гостям, упрямец», – сказала она спокойно. И я отошёл к Габи и Вацлаву, вновь мирно обсуждавшим художественные достоинства каменных будд афганского Бамиана.

10

На моём письменном столе стоял Будда. Керамический. Ухмыляющийся. Он остался в квартире от прежних хозяев. Я стёр с него наслоения пыли и переместил с каминной полки на крышку стола. Теперь он коротал время в компании новенькой лампы и машинки «Торпедо», лукаво уставившись непросветлённой миной на стенные часы напротив, прямо за нашими спинами. Мы, полулёжа на стареньком рекамье, смотрели поверх завитков его шевелюры в окно, где смятая углами двух соседних домов, за узким сходящимся створом проулка искрилась поверхность Каналь Гранде.

Канал, казалось, трещал по швам от обилия лодок, и было б, наверно, забавным считать их тела, внезапно появлявшиеся из-за кромки одного из углов и тут же скрывавшиеся за кромкой другого. Я говорю «было бы», потому что мы этим не занимались.

На Анне из одежды осталась лишь шёлковая ночнушка, она покоилась на её бёдрах, превратившись по нашей прихоти в какую-то срамную повязку, по типу индейской. Девушка млела, прислонясь голой спиной к широкой моей груди, закрыв глаза, запрокинув голову мне на плечо. Помню, какой липкой была её кожа, где оболочки наши соприкасались. Помню, как ласкал её груди. Странно, что я так отчётливо всё это помню.

«Как, говоришь, называются эти вершины?»

«Это вот Аннапурна, – тронул я пальцем левый её сосок. – А вот эта, повыше, – Дхаулагири».

«Звучит мистически, – протянула Анна. – Ан-на-пур-на. Именно её ты и собираешься покорить? Это твоя несбыточная мечта?»

«Голубая, – поправил я. – Говорят – голубая мечта. И она отнюдь не несбыточная».

«Пусть так. А что означает это чудное слово?»

«Аннапурна? – уточнил я. – Аннапурна – это древняя богиня смерти».

«И что же, – в голосе девушки послышались незнакомые нотки, – ты не боишься смерти?»

Я из чистого суеверия предпочёл уйти от прямого ответа: «Её знают в разных обличьях. Аннапурна – светлая ипостась».

«А какова тёмная?..»

«Тёмная – это Кали. Шестирукий монстр с огненными лохмами. И высунутым, как у висельника, языком».

Анна приоткрыла глаза и повернула ко мне лицо: «И ты не боишься?»

Мне стало понятно, что вопрос этот её занимает.

«Конечно, боюсь, – с ухмылкой настольного Будды свёл я понимание в шутку. – Она ведь всё-таки женщина».

«Ну и дурак же ты, – буркнула Анна, вновь запрокинув голову мне на плечо. – Нас не надо бояться. Нас надо любить».

Она оказалась права. Совершенно права. Только я ещё не знал этого. Я действительно был суший дурак. И её действительно нужно было любить. Физически. Положив мордую в пол. Именно так она мне и заявила где-то месяцев через шесть. Я сидел в крохотной кухоньке с выключенным верхним светом. Под плитой. На плите стоял суп, из-под неплотно прилегающей крышки в мир изливались волнующие ароматы приправ. Но мне было не до того. Я рыдал в голос. Спустя два года я впервые вознамерился взять её. Я так волновался. Я не сумел этого сделать.

Анна кричала. Кричала, что ей уже двадцать с гаком, что она устала нянчиться с сопливым придурком, что если у меня в детстве были проблемы, мне надо идти с этим к Фрейду или какому-нибудь мозгоправу. Что был бы я настоящий мужчина, ещё при второй-третьей встрече положил бы её мордой в пол, – вот о чём я говорил, – и отымел во все щели, что когда в прошлый раз мы разругались, один из моих друзей так и сделал. До сих пор помню, как через кухню летела кастрюля. Эмалированная стальная кастрюля, полная супа, который наверно был вкусным. В двух верхках от восхитительных черт кастрюля ударила в стену, выбив здоровый кусок панели, и аппетитное содержимое расплескалось по бумажным обоям. Молча стояла Анна. Молча она уходила. Чтобы не возвращаться.

А пока... пока мы лежали на рекамье. Из одежды на ней была лишь шёлковая ночнушка. Она покоилась на её бедрах по типу срамной повязки. Индейцы были б в восторге.

«Индейцы? При чём тут индейцы?»

«Я у тебя нашла интересную статью. В одном из географических журналов...»

Я вдруг очнулся от созерцания тёмного отверделого соска. Аннапурна должна быть белой.

«Я говорю, что рылась в твоих журналах, – громко сказала мне Анна, прямо в ухо. – Ты что, не слышишь?»

«Прости, задумался».

«Скажи ещё – залюбовался. Так вот, – продолжила она, – это очень интересно. Я даже обвела ручкой. Слушай. Где-то в Америке...»

«В Южной?»

«В Южной, а может в Центральной... Не перебивай. В общем, есть там небольшой народец, по-моему, они называются на испанский манер

хиварес или хиваро, точно не помню. И они, ты представь, будто б считают, что мир – это сон. А в снах они попадают в реальность. То есть наоборот, не так как мы. Ну, ты понял, что я хотела сказать».

«Не совсем», – соврал я.

«Смотри, – стала рассуждать Анна. – Если явь, это сон, а сон – явь, а смерть – вечный сон... так?.. то умирая, они как бы навсегда пробуждаются к реальности. Вот уж кто точно не боится смерти».

«Думаешь, не стоит бояться реальности?»

«Демагогия?» – улыбнулась Анна.

«Ничуть, – я снисходительно улыбнулся в ответ. – Реальности стоит бояться, если пробуждаешься к ней навечно. Вечное всё страшно».

Мы замолчали. Не знаю, о чём молчала она. Я не спросил. А я молчал главным образом о собственной своей, так свободно, почти что спонтанно, брошенной фразе. Раньше, до самого этого момента, мне и в голову не приходило, что стоит бояться вечных вещей. Вечной любви, например. Вечной жизни. Или, ещё страшнее, – смерти, но не в смысле небытия, а как пробуждения к вечности от сна жизни. И ещё – бояться заветной своей мечты, ибо Аннапурна – и есть вечность, Аннапурна – и есть пробуждение.

Интерлог

Письмо сеньору Антону Коменскому, писано уже известной читателю автоматической ручкой «Ватерман», Венеция, 14 апреля 1920 года. Публикуется со значительными изъятиями.

Дорогой друг.

Как хорошо, что Вы меня разыскали. Как славно. У меня не осталось о Вас совсем никакой информации, и я не видел уже возможности с Вами связаться. Теперь, когда прежний мир рухнул, и вовсе не ясно, что уготовано нам судьбой, мы, свидетели последней агонии нашей великой державы, вынуждены искать себе место в новом небывалом враждебном мире – мире, который рождает в душе лишь смятение и антипатию...

...Полностью разделяя выраженное Вами мнение, аргументированное в Вашем письме более чем убедительно, я решил принять Ваше любезное приглашение. Более того, я уже прибыл в Венецию и пишу Вам из номеров, где давеча остановился. Не желая обременять Вас излишними заботами, неминуемо возникшими бы в связи с моим скорым приездом, я уже навёл справки и с завтрашнего дня буду присматривать себе жильё на более-менее долгий срок. Если у Вас есть на примете приличные комнаты за плату, не слишком обременительную, дайте мне знать. Это существенно облегчит мои

поиски, в городе я совершенно не ориентируюсь, а языком владею на уровне школьного курса.

...Как, в сущности, странно находиться мне в этом городе, городе, который мы так и не сумели бросить к стопам нашего кайзера. Странно бродить по его улочкам, заходить в церкви, видеть людей. Там, по другую сторону, я их такими как-то не представлял. Я первым делом сходил до Сан-Марко и переплыл на лодчонке к церкви Салюте, которую Вы мне очень рекомендовали в Вашем письме из-за архитектуры и великолепных плафонов работы старых мастеров. Я встретил там одного парня, мы разговорились. Оказалось, он переводчик и свободно владеет немецким. Он был год на Изонцо, и еще у Кортина-д'Ампеццо. Я сказал, что застал лишь бои за Венето, что приехал сюда навсегда. Мы обменялись рукопожатиями и тепло обнялись. Мне понравилась эта церковь.

...После того как вполне здесь устроюсь, думаю предпринять и поездку к линии фронта. Здесь ведь совсем близко. Может быть даже с палаткой. Понимаю, это может выглядеть чересчур необычно, даже несколько глупо. Но что-то подсказывает мне, наверное – мой внутренний голос, что так сделать необходимо. Приглашаю и Вас, добрый мой друг, если на то будет Ваше желание, присоединиться ко мне в небольшом этом предприятии, что потребует, вероятно, от силы лишь несколько дней. При возможности, но, конечно же, позже, можно посетить и Тироль, который волею судеб оказался ныне в этой стране.

...Покамест проживаю по указанному в письме адресу, обо всех изменениях, касающихся места моего пребывания в этом городе, обязуюсь сообщать Вам незамедлительно...

Часть третья

11

Я сам удивился тому, с какой лёгкостью из моих рукавов вылетели беретты. Я ведь даже не тренировался.

«Опасно выглядишь», – сказал мне внутренний голос.

«Очумели?» – спросил Габриэль.

«Если Вы о том, Габи, что на нас смотрят, то на нас сейчас не смотрит никто».

Вацлав рукою в белой перчатке осторожно отстранил ствол от напудренного лица: «Нет, красавчик, Габи как раз не об этом. Если три дня назад ваше действие было глупо, хотя и уместно, сегодня оно совершенно не следует из разговора. И я опасаясь, что оно – лишь домашняя заготовка, а это чревато».

«Переиграем?» – спросил я.

«Не против, – ответил Вацлав. – С чего начнём?»

«С несоответствия. Я должен подвести разговор к...»

«К тому, что мне надо бы прочитать стишок, а Вацлаву сплясать? – перебил меня Габи. – Боюсь, не получится. В одну реку не войти дважды, а уж тем более – трижды. Первый раз мы говорили о Стравинском, второй – просто поцапались о путях становления самосознания. Но древние Будды. Убийство из вкусовщины. Вот чем это грозит нам».

«А если так? – предложил я. – Мы ведь делали выводы. Вы, Габи, отстаивайте идею христианского гуманизма. Вы, Вацлав, идею разсотворения. Я с вами не соглашусь, поскольку я за очищение первоосновы духа путём отметания условностей. Жертвы, во имя основополагающей цели, которая и творит эго. Это позволит мне воспользоваться оружием в пылу перехода на личности».

«Глупости! – Вацлав смеялся почти в открытую. – А давайте начистоту. Габи. Думаю, наш протеже предлагает нам сделку, обещающую лично Вам немалые бонусы. Что если Антон просто пустит пулю мне в лоб, – он, конечно, будет мне должен, это даже без разговоров, – а Вы его просто выведете отсюда, продемонстрировав Лу моё бездыханное тело?» – «Вы стрелять-то не разучились?» – обратился он ко мне.

«Нет», – односложно ответил я.

«Тогда... вперёд, – шепнул Вацлав, указуя на мою левую руку. – А ведь ей-богу, неплохо приду...»

Он не окончил фразы – я выстрелил ему в лицо, так и не разобрав, чью именно придумку попытался он похвалить. Я ещё успел заметить, как негры, подскочив над бархатом рекамье на добрых полтора метра, посреди света и конфетти обратились в гепардов. Потом меня уронили на пол и начали рвать зубами.

Первое, что я вспомнил, когда оказался во мраке – разговор с Габи. Он происходил на английском, видимо, чтобы звери не понимали.

«Габи? – спросил я у взъерошенного затылка. – Вы поможете мне?»

«А Вы простите меня?» – не поворачивая головы, произнёс Габи, продолжая шествовать по жемчужному коридору впереди процессии выдворения.

«Ну, Вы даёте... И Вы всё ещё хотите сказать, что вы, все вы – порождения нездоровой моей фантазии? Что простить вас нужно мне самому? Да Вы только что сдали себя с потрохами, Габи».

«Вы простите меня?» – ещё раз спросил тот.

«Хорошо, – буркнул я. – Правда, не знаю за что».

«Ну, тогда удачи, друг мой. И... только не останавливайтесь».

Резко обернувшись, бывший правитель Риеки вытолкнул меня из коридора прямо сквозь стену. И тут же где-то рядом с собой я услышал истошный крик пожираемого человека: «Прощение, Антон, прощение! Ты обещал...»

«Прощайте, Габи», – выдохнул я, и крик оборвался. Я вдруг осознал, что у меня в запасе примерно восемь минут. И минуты эти текли быстро.

Я совершенно не знал, куда бежать, но взглянув на кисть левой руки, увидел слово «Вперёд». Вперёд я и побежал. Размыкая мрак, пытаюсь попутно определить, сколько спиц колеса верных сменили друг друга. Четыре, пять, – сколько? Я выбрался из дому – это раз. Преодолею Каналь Гранде – два. А мост считается? А машинка – она была? Или нет? Потом Крис – это точно. Решение не танцевать – возможно. Нет, это четыре. Выстрел в Нижинского – пять. Прощение Габи – шесть. Нет, все-таки пять. Танцы – это не я решал. Минимум – пять. Уже что-то. Вечер потрачен не зря.

Я мчался сквозь мрак, но совсем не тот мрак, что внизу под прежней моей квартирой. Здесь фонарик был мне ни к чему. Я отчётливо видел свои руки и ноги, и если бы что-то встало у меня на пути, я бы это заметил и заметил заранее. Кроме того здесь он явно не был пустым. Вокруг что-то существовало. Я знал, что это старый дворец, возможно в этом слое реальности он даже достроен, но это не только он. Я чувствовал топот копыт конной атаки башибузуков, и суть ливийской пустыни, и дыхание моего брата-индуса рядом в окопе. Кислоту игристого. Ладан в Салюте. Солнце в горах. Вгоняющий в оторопь запах женской смазки. А впереди явственно слышалась музыка. Туда-то я и спешил. К сцене. К зимнему саду, где тощий блондинистый вокалист приглашал меня, а может какую-то сухонькую кокаинетку, на одну маленькую румбу, потому что румба – это ведь так современно.

И тут я понял, что время вышло. Я обернулся. Кто-то приближался. И приближался довольно скоро. Я припустил, но спиной ощущал, что меня нагоняют. Хорошо ж мы наверно смотрелись – я в истерзанном фраке и тянущая ко мне длани слепая старуха в седых лохмотьях и с пылающими волосами. Да, я помнил тот давний кошмар, но не предполагал, что он сбудется. Похоже, хиваро были не так уж неправы. Ну, да и к чёрту их.

«Стой, да куда же ты, милый? – шамкала старуха. – Ты что же, не узнаёшь меня? Это я! Меня сожгли в третьем веке парфяне. А может, и персы. Уже не припомню. Мне поклоняются. Поклонись мне, и я... сделаю тебя счастливым».

«Ты не святая!»

«Конечно же, нет! Да я и не христианка! Я назначила свидание моему любовнику! В том самом храме! Вот ведь, как не сvezло! Да иди ж ты сюда!»

Она догнала меня и повалила куда-то вниз, обсасывая мне лицо пахнущим рвотой и табаком ртом, смеялась, оставляла на лице следы алой помады и запах тлена... Нашупав под рукою что-то тяжёлое, я с отвращением двинул её в висок. Старуха крикнула и обмякла. Что это? Пишущая машинка? Нет. Это был мой керамический Будда. Странно, но он не только уцелел после головоломного этого удара, но даже продолжал печатать, изрыгая из пасти листочки. «Я убил Вацлава», – читал я знакомый шрифт. – «Маркиза отказала мне в приглашениях», «Я создаю предметы и очень опасно выгляжу»...

«Эй! – гаркнул я наугад, вставая и утирая с лица старушачьи слюни. – Слуги! Вашей хозяйке дурно. Слышите?»

Мрак распахнулся, и вошли двое негров. Они вошли, а я вышел.

12

Музыка оглушала. Музыка поглощала. Музыка двигалась. Где-то здесь ожидал я увидеть сад, но сада я не увидел, только тела, сполохи света прожекторов, искры опадающих фейерверков и стену вихрящейся рваной бумаги. Полночная танцплощадка, у которой не видно края. Мимо меня во всех направлениях проносились люди, то появляясь из синтетического тумана, то исчезая в нём. Скользкие фраки, короткие летящие платья, стальные икры, лоснящаяся кожа, муаровые манжеты и сумасшедшей высоты каблук бились вокруг меня в пьяном экстазе под вездесущую музыку. Плотность звука зашкаливала. Оркестр знал своё дело.

И я должен был идти. Вперёд. Туда. По паркету. Сквозь искрящийся дождь и серпантин. Сквозь мелодию танца. Сквозь живое тревожное тело, тело тысячи тел. Я ступил на паркет танцплощадки и пошёл в направлении звука. В направлении сцены. К музыкантам и мячущему блондину. К столикам и салатам.

На меня налетели практически сразу. Я склонил голову извиняясь. Но пара остановилась и проводила меня взглядами. Потом вторая, третья, четвёртая пары. Я был здесь чужой, я мешал им забыться, мешал делать то, что делать они пообвыкли. Но я чувствовал, что без меня этот вечер ничто, без меня он не имеет значения. И я знал – цель уже близко.

И вновь что-то двинулось ко мне из тумана. Я думал – это очередные танцоры, но фигура была одна. «Приглашения не приму», – подумалось мне. Однако приглашения и не последовало. Фигура, пускай и довольно изящная, принадлежала мужчине. Лихо скользнув самой границей взгляда, в следующий миг Нижинский уже шёл со мной под руку.

«Бросьте фамильярничать, Вацлав!» – попробовал отстраниться я. Но не получилось.

«Да тихо Вы, – процедил он сквозь зубы. – Орать совершенно необязательно. Я прекрасно Вас слышу. Как, впрочем, и все окружающие. Вы и так на грани удаления с площадки. Жаль. До желаемого уже рукой подать».

«И Вы знаете, о чём речь?» – спросил я.

«В отличие от Вас, к несчастью – да. Оттого-то Вам и сочувствую».

«Так скажите мне».

«Нет. Дайте им то, что они хотят».

«Тогда, зачем Вы вообще здесь, Нижинский?»

Вацлав несколько шагов размышлял: «Видите ли, дружище, при всех очевидных минусах, вечера здесь куда как приятнее, чем в психиатрической клинике. Поэтому я сюда частенько наведываюсь».

«Наведываетесь в ад?!»

«Ну да. Туда-сюда. Мне ведь в отличие от большинства... но, заметьте, не всех... прощение Ваше не нужно».

«Почему это?» – не поверил я.

«По двум объективным причинам. Первая – я не был на этом вечере в двадцать седьмом году, – уже был болен. Вторая – я ещё жив в физическом мире...»

«Год!!!» – заорал я.

«Ну что Вы вопите, как оглашённый? Одна тысяча девятьсот сорок девятый. Мне немного осталось. И если уж я и попаду за что в ад, так это за «Священную весну». Ей-богу...»

«Сорок девятый, – тем временем считал я. – Я погиб в сорок первом. Восемь лет... Восемь лет!!!»

«Что Вы там бормочете, дружище? Какие восемь лет? Это для меня бы прошло восемь лет, а Вы... Я вообще до сих пор сомневаюсь, что Вы не плод моего ущербного воображения. Как бы то ни было, Вы пытаетесь по-прежнему жить этим окаянным вечером в двадцать седьмом году».

«Что значит – пытаюсь? Сейчас что? Не он?»

«Ну, Антон, Вас ведь не так зовут... я догадался... На самом-то деле... Вы сами говорите, что умерли в сорок первом. Сорок первый, это... ну как бы позднее, чем двадцать седьмой... Да и ни в одном, даже самом-пресамом високосном году двух-трех миллионов вечеров ну никак не наберётся...»

Я не верил своим ушам: «Вы хотите сказать, что я...»

«Ну никак не меньше... И в стремлении достигнуть вашей дебильной цели Вы невероятно изобретательны. Скрывать не стану, в основном из-за ваших фортелей я и ещё пара ребят из восьмидесятых сюда и заглядываем. Без обид».

«А Габи?» – спросил я.

«Ну, Габи... А, кстати, где наш поборник фашизма и насильного музыкального воспитания?»

«Он ушёл».

«Ну, Слава Богу, хоть его отпустили. Значит, попал-таки на следующий круг, счастливчик. На нём ещё Риека висит. Никак смириться не может, натурал хренов. Кстати, ну и повезло же Вам, что сегодня я здесь».

«По-моему, Вы всегда здесь...»

«Отнюдь. А сегодня я вообще пришёл совершенно случайно. Лу не врала. Пришёл. В надежде, что Вы что-то предпримете. Мне ведь сказали, что Вас не будет, что решили взять Вас измором».

«И Вы пришли?»

«Ну... чутьё, знаете ли. И не сегодня, так завтра. По-моему Вам нужна помощь... Я здесь далеко не с самого начала. И сперва меня попросту интересовало, когда Вы наконец сдадитесь и сделаете как лучше. Хотя – и, думаю, я прав – чем дальше, тем всё более дикие штуки вытворяет с Вами ваша память. Она ведь не безгранична. Так вот, раньше я полагал, что Вы действуете сознательно и из убеждения. Теперь же я знаю, что верное решение самостоятельно Вы принять не способны. А наши друзья этого не понимают. Вы не против, если мы поднимемся вместе?»

Мы остановились у самой сцены. Я посмотрел в глаза Вацлаву и не увидел в них ничего, кроме участия.

«Хорошо, – сказал я. – Пойдёмте. Ваша помощь мне может понадобиться».

«Принципиальный», – хмыкнул Вацлав. И мы единым махом преодолели восемь ступеней лесенки – этап, за которым нас ждало пристальное внимание.

13

Вацлав чуть поотстал, а я очутился в свете софитов. Музыка тут же сникла, и рухнувшая туча разноцветного конфетти обнажила единый тугой немигающий взор сотен проросших во мне зрачков.

«Добрый вечер, дамы и господа, – вторя мыслям, пробасили динамики. – Это я!» Но, видимо, меня признали и так, и без засевавшей во мне сакраментальной фразы, ибо на сцену откуда-то из глубины замершего танцпола залетела сперва бутылка из-под «Мозта», а потом и муранская пепельница.

«Ну-ну, джентльмены, – обратился Вацлав к собравшимся, приобняв микрофонную стойку. – На дам, как водится, не грешу... Давайте будем взаимно вежливы. Ведь ясно, что мы поднялись сюда не просто так...»

«Вацлав говорит дело, – подтвердил я. – Я пришёл показать вам один маленький фокус...»

«Фокус?» – удивился Нижинский.

«Пугать-то брось! – донеслось откуда-то снизу. – Пистолеты из рукавов – это мы уже видели...»

«А коли видели, – перебил я, – так и вовсе огрызаться не стоит. Итак, фокус... Но мне нужна шляпа. Вацлав, у Вас есть шляпа?»

Нижинский сунул руку за пазуху и со словами: «Какую нашёл...» – протянул мне новенький белый цилиндр с биркой местного ательера.

«Итак, – продолжал я, – если вы думаете, что сейчас из шляпы появится кролик, вы меня сильно недооцениваете. Я понятия не имею, что вы мне задолжали... Кстати, Вацлав, а они сами-то ещё помнят?»

«Скорее, знают, – улыбнулся Нижинский, несомненно, рассчитывая на мой очередной закидон. – Видите ли, человеческое общение – великая штука...»

«Так вот... – вернулся я к зрителям. – Сдаётся мне, что вы мне сегодня должок возвратите, или я достану из шляпы то, что вас очень расстроит...»

«А конкретнее?» – донёсся с левого края старческий дискант.

Нет, меня тут положительно отказывались воспринимать всерьёз! И с этим надо было кончать: «По-хорошему, дурачье вы этакое, мне надо достать оттуда «Томмиган», а ещё лучше – пулемет системы Максима и перемешать к еб.ням ваши резус-факторы! Но боюсь, это не слишком-то вам повредит. Поэтому я поступлю по-другому... Ну-ка детки, скажем дяде абра-кадабра... Упс...» И я достал из цилиндра штоф ароматной вишнёвки.

Никто не проронил ни звука, что лично я принял за проявление вежливости и продолжал, наливая стакан: «Что, не ждали? А я, между прочим, уже устал напрягаться. Пришло время и мне расслабиться. В конце-то концов, каждый имеет право на отдых. Матушкина вишнёвка. Нижинский, хотите?»

«Да с удовольствием!» – согласился тот, и я протянул стакан и ему.

«Ваше здоровье, господа. Я вот сейчас угощусь, – сладко причмокивая, упивался я собственной наглостью, – да и пойду отсюда, пожелав вам всем счастливо оставаться. И больше даже не беспокойте меня нелепыми хамоватыми приглашениями. Да, я беден, и квартиры у меня теперь нет, зато у меня появился в городе друг. Устроит меня в артель лодочником, а может, и ещё кем. Домик сниму на окраине и буду «жить-поживать и добра наживать». Есть присловье такое в наших жутких старинных сказаниях, где и мёртвым ни сна, ни покоя, и живым – в общем-то, тоже. Но, если отдадите моё, если поможете достичь цели, – я, пожалуй, и окажу вам ту несложную для меня

услугу, что имеет для вас столь великую ценность. Только представьте, сегодня – всё! Совсем – всё. Всё закончится... Вопросы?»

Рядом с ближними столиками поднялась одинокая рука.

«Да! – указал Вацлав початым стаканом на ладно сложенного чернобородого господина, что тут же поднялся. – Представьтесь, пожалуйста!»

«Халифа бин Харуб, султан Занзибара. У меня есть вопрос к нашему спикеру».

«Весь внимание, Ваше Величество», – следуя этикету, поклонился я.

«Скажите, любезный, Вы встречали следы ковчега при подъёме на Арарат?»

Я даже немного опешил: «Простите, Ваше Величество, а Вам не кажется, что это как-то не в тему?» – а потом едва не зажмурился от удовольствия, осознавая, сколь много и сколь бездумно себе позволяю на этих подмостках.

«Кажется, – расхохотался султан. – Но знать-то всё равно хочется».

«Ваше Величество, мне жаль Вас разочаровывать, – нет, я следов ковчега на Арарате не видел. Но в прошлом знал одного альпиниста. Престранный субъект. Он утверждал, что нашёл окаменелые доски и плахи, исторгнутые ледником. Возможно, он – псих, тут уж судить не берусь».

«Отлично, – кивнул мой царственный собеседник. – Дадите его координаты моему секретарю?»

«И рад бы помочь, – нехотя возразил я, – да боюсь не смогу, память нынче не та».

«Я берусь это поправить!» – гаркнул султан, обводя взглядом танцпол, будто ища несогласных.

«Даже не вздумайте! – возразил ему старческий дискант с левого края. – Лу, она этого так не оставит!»

«С Луизой я как-нибудь договорюсь. Конферансье, объявляй номер!»

«Но, Ваше Величество, сэр, пожилой господин прав, – свесился со сцены мяукающий блондин. – Лу может достать для Вас любой адрес, любое имя, не нужно!..»

«Я сказал – объявляй, щегол!»

И прыткий конферансье, вспорхнув к скамейкам оркестра, скорее пролепетал, чем объявил над восковыми фигурами мёртвого сада номер, которого так опасалась маркиза. Над восковыми фигурами. Мёртвого сада. Внимания тут уже не было – лишь пустые тела в неестественных позах. Гости сбежали. Не иначе – нас ждал гвоздь программы мероприятия.

За нашими спинами распахнулись бархатные занавеси глубокой ночи, и опустевший дворцовый сад исчез вместе с ними. Его сменили

кулисы громадного невиданного театра: с мостками, канатами, тросами, вантами, – всё скрипело, шевелилось, ездило, шкрябало. И вездесущие эти движения тянули к нам – к крохотной в сравнении танцплощадке – могучие неприступные гряды белых вершин, будто рисованных по титаническому грунтованному холсту каким-то сумасшедшим гигантоманом. Но то были лишь декорации. На переднем плане, где золотые корневища лиственниц взмыли в звёздное небо драгоценной блистающей лестницей, а веера павлиньих хвостов начисто скрыли кроны, едва касаясь стопами оранжевой хвои, устилающей ложе старого рекамье, прикрыв глаза завесою тёмных от сеточки капилляров век, танцевала красавица. Невысокая, черноволосая, с пышной грудью и пышной причёской, нагая, будто только что сотворённая Богом. Лишь к спине её бинтами телесного цвета были прилажены ещё четыре, видимо механических, руки...

«Аннапурна, дамы и господа, древний идол смерти и вечной жизни, – всё лепетал и лепетал блондинчик. – Древний идол, дамы и господа. Жизни и смерти... дамы и господа... идол...»

И тут пришло пробуждение: «Как? Как ты сказал? Аннапурна?.. Аннапурна? Анна?.. Люби... мая?»

14

«Антооооон... Суууууууууукаааааа!» – разносилось над бездной застывших в танце фигур. Вацлав пытался меня удержать, но сил ему не доставало. «Где тыыыыыыыыы?.. Я тебя на загровке оттуда вытащил, падлаааа!.. На горбу пёёёёр!.. Восемь... восемь километров... к своим, а тыыыы... ты бросил меня помирать... тут... между салатов?..» Я собирался крикнуть что-то ещё, но слова застряли где-то в затылке, так и не добравшись до глотки. Я в ужасе почувствовал, как поплыло левое веко. Нижинский тут же уложил меня на покрытие сцены, но Анна всё танцевала и танцевала, не обращая на нас никакого внимания.

«А кто такой Антон? – недоумённо спросил султан откуда-то снизу, приканчивая жаркое. – Нижинский, это тот самый его приятель?»

«Понятия не имею...»

«Имеешь! Имеешь, Нижинский!.. – взорвал пространство гневный окрик маркизы. – Уж тебе-то известно всё!»

Стена палатки от этих слов взмыла ввысь, заподлицо умещаясь в точно подогнанный паз небосвода. Бросив бильярд, хрупкая женщина в чёрном, что недавно манила меня танцевать, ступала в сени гималайских гигантов по паркету площадки, прокладывая себе путь сквозь человеческий лес.

Фигуры падали, бились, ломались, из расколотых тел, из растресканных вен изливались потоки густого терпкого пунша, сплетаясь в узоры

всё-таки женщина... Обыкновенная женщина... Слабая женщина... Как-ты мог так со мной? Как ты мог? Я... я не любила Габи, никогда не любила... Вацлав... Я даже не пошла на его похороны...»

«Макс, а ты? Ты же знал, – обернулась маркиза к оркестру, и в глазах у неё блеснула влага. – С каких пор ты исполняешь приказы Нижинского?»

«Ну, Макс тут точно не при делах, Лу», – донеслось от ближайших столиков. Султан чинно допивал кофе, внимательно вслушиваясь в беседу. Впрочем, и я, воспаривший мыслями к свету софитов, теперь не упускал в ней ни звука. «Нет, распорядитель – он, никто не спорит... Просто я слегка его припугнул... Ну что он мог сделать?.. Я ведь этот, как бишь его?.. Нижинский, помогите, как это там по латыни... Сезар? Кесарь?»

«Может, Август?» – подсказал Нижинский.

«Нет, нет... Кесарь... А, да – кайзер! Я – кайзер, монарх. Мне никто не указ. Что хочу, то и делаю, и другие делают, что хочу я. Вот так вот».

«И почему вдруг тебе захотелось мне насолить, Саид? – маркиза неловко плюхнулась на пол, среди останков своих гостей. – Почему? Когда я тебя обидела, дорогой? Чем?»

«Ничем ты меня не обидела, женщина. Просто я так решил. Просто решил сделать вот так. И сделал. Так оно будет по совести».

«Саид, – пролепетала маркиза, – ты... ты не понимаешь. От него невозможно по-другому избавиться... Он считает, что мы его приглашаем. Но это бессмысленно. Я уже после первого случая поняла это. Он только-только начал опять всё забывать... Я не могу больше ждать. Просто не могу, Саид».

«Не можешь? А чем ты думала, когда соглашалась на эту подлую выходку? Это тебе не гулять со зверями, пугая прохожих да галок по набережным. Это живой человек, которого вы погубили... Все вы... Сообщи».

«Мой друг, – продолжала Лу, – тогда нам это казалось забавным...»

«Что? Больше не кажется... Готов спорить, что нет».

«Он только опять начал всё забывать... Он только опять начал всё забывать... Забывать, забывать, забывать, забывать, забывать. Опять...»

«АААааааа...», – резко выдохнул я, подсакивая как после кошмара на ковролине сцены.

«О! – обрадовался Вацлав. – Ожил. Временами не так-то и плохо быть... покойничком. Ей-богу... А мы тут о Вас разговариваем. Луиза вот подошла...»

«Что значит – опять? Опять начал всё забывать... После какого первого случая? Я раньше что, уже видел это?..» – не отвлекаясь на его словеса, тараторил я, судорожно тыча пальцем в смуглую вершину вдали.

«А то как же... – чуть не плача, выдохнула маркиза, терзая в отчаянии муфточку. – Чудовище Вы этокое...»

15

«Прежде Вы уже дважды стояли на этой сцене. В первый раз Вы убили свою Анну, истыкав ей горло автоматической ручкой. Второй раз Вы отпустили Антона, сломали девке шесть рёбер и, трахнув в позу мордюю в пол, свернули ей шею... Теперь ясно «Этого!» почему Вас сюда «Не может!» не пускают «Быть!». Почему «Этого!» я наняла «Просто!» этого мордворота, что «Не может!» до сих пор не «Быть!» может очухаться «Поганые!» после вашей сегодняшней «Врали!» встрече?»

«Этого быть не может! – орал я благим матом. – Если бы я был здесь, – колесо, все восемь спиц, обернулись бы полностью, и всё бы закончилось достижением цели! Так ведь, Нижинский?»

«Дружище, – похлопал меня по плечу Вацлав, – Вы здесь, и, как видите, ничего не заканчивается! Да и с чего Вы вообще уверовали в дхармическое колесо? Вы христианин! Пора уже смириться, что Вы – в христианском аду! Ведь это же так логично!»

«Ни хрена это не логично! – я указал на удобно развалившегося в плюшевом кресле султана. – Если мы в христианском аду, что он-то здесь делает?»

«А я почём знаю? – пожал плечами Нижинский. – Султан, что Вы здесь делаете?»

«Диву даюсь», – ответил Саид.

«Видите, султан здесь даётся диву. А если не секрет, что за повод?»

«Да какие секреты... Меня поражает, с каким неизъяснимым демоническим сладострастием так называемые добрые христиане издеваются друг над другом. Вы даже сейчас вполне преуспеваете в этом. Хотя делить-то вам уже нечего. Похоже – это заложено в самой бесстыжей и ханжеской вашей природе. Лу, у тебя ведь здесь когда-то был зоопарк? Ну вот теперь все вы – его обитатели, – султан развёл руками по сторонам, – приматы, потерявшие человеческий облик, а я всего лишь захожий зритель, что платит драгоценным своим временем за удовольствие лицезреть ваши ужимки и рожи».

«Это всё ложь! Неправда! Так не бывает! Я просто ещё не достиг цели! Колесо не сделало оборот!»

«Так достигни её! В чём, кстати, она состоит! Твоя цель! Луиза! Ты близка к финалу как никогда! Предложи ему цель! Пусть он достигнет её!»

«Я? – удивлённо спросила маркиза. – Почему я?..»

Нижинский расхохотался, он всё понимал.

«Да потому что это твой дом! Это твой ад! Это ты во всём виновата!»

«Во всём виноваты Антон и упоротая его шлюха. Только Антона он почему-то простил!»

«Я даже мог бы сказать – почему, – встрял Вацлав. – Видишь ли, подруга, Антон осознал, что он сволочь, да и пролитая совместно кровь тоже многое искупает... А тебя, видно, не было у Витторио-да-Венето. Ты кутила тут в ожидании варваров...»

«Вот и предложи ему то, на что он будет согласен, – продолжал свою мысль Халифа бин Харуб, султан Занзибара. – И лучше тебе поспешить. Если уж закрывать хвалёный сезон двадцать седьмого года, так прямо сейчас».

«Я ни на что не буду согласен, – проорал я. – И не надейтесь. Вы испоганили мою жизнь. Превратили меня в овощ. Оплевали мою любовь. Лишили мечты. Как я вас всех ненавижу!»

«А нас-то за что?» – усмехнулся Нижинский.

«Хотя бы за то, что вы всё это знаете. Да ты ещё и изрядный враль... великий манипулятор Нижинский».

«Враль? Манипулятор? Что я могу на это сказать... я натура артистическая, двойственная, шизофреническая. Я действительно настоятельно от чистого сердца желаю и рекомендую Вам простить их... Просто знаю, что не простите, и использую это в своих интересах. И совесть моя кристально чиста. Может, выпьем за это, матушкиной наливочки?»

«Решайся скорее, Луиза!» – поторопил султан, видя, что я, плюнув Вацлаву под ноги, направился к лестнице.

«Хорошо, хорошо! Но сумею ли я его убедить? Убедить достигнуть её, Саид?»

«Может быть – да, может быть – нет... Знакомо? Ты же не пробовала. Удивительно. Тебе даже не пришло это в голову...»

Луиза остановила меня на паркете застывших движений. Она отбросила шляпу и муфточку, и без траурных этих деталей оказалась обычной хорошенькой женщиной, каких можно встретить в аллеях и парках любой европейской столицы во множестве. В ней не было ничего сверхъестественного. Ничего пугающего или отталкивающего. Она стояла передо мной, заламывая руки в страстном и неверном желании всё изменить.

«Господин, – сказала она, – я не знаю, как Вас зовут. Но это ведь не так сейчас важно, правда? Сейчас уже всё не так важно, как было прежде. Вот она, ваша Анна. Вы ведь любите её. По-прежнему любите, как любили всегда. Ну, так и оставайтесь с ней. Насовсем. Она ведь больше не его шлюха. И ничья больше. Она ведь любила Вас. И так поступила лишь оттого что любила. От боли. От безысходности. И её тело... Этого тела у неё всё равно уже нет... Идите

к ней. Гости вернутся. Я скажу Максу, и оркестр грянет вальс. Ваша помолвка станет лучшим завершением лучшего моего вечера. Помните, как я сказала тогда – идите и покорите вершину! Идите и покорите её. Навсегда. Навсегда. Отныне и на веки веков...»

И зал ожил. И ожили гости. Меня тискали за руки, целовали в глаза и губы, объяснялись в любви и дружбе, просили прощения за неуместную шутку. Сугроб серпантина и конфетти внезапным порывом взметнуло с пола, и он завьюжил, взлетая над вальсом, вырывая меня из лужицы пунша, срывая меня в атмосферу. И в этой цветистой метели мы встретились с Анной: я – в драном неграми фраке, она – обнажённое чудо, мы поднимались и поднимались над куполами Салоте к куполам Аннапурны. К чистоте вечной и величию смысла потерянных жизнью...

«Аминь!» – брякнул Нижинский. И я понял, что вихрящийся антураж начинает сдирать с меня кожу, сухожилия, нервы, мышцы... Вскоре мой образ был счищен совсем. Не осталось почти ничего, ничего, кроме тусклого лунного света, жалкого сгустка энергии эго – кошмарного и неизбывного прибежища распавшейся самости Я, распавшейся, но отнюдь не забывшей...

«Нет! – отшвырнул я маркизу с дороги, вверяя её скомканный образ гротеску танцпола. – Вы должны мне ответить... Вы должны мне ответить за всё».

«Ничтожество! – кричала маркиза мне вслед. – Ничтожество! Великий Морис Эрцог покорил Аннапурну! Двадцать три года спустя. А ты – ты всего лишь ничтожество!.. Ты – тупица!.. Придурок!.. Слабак... Трус... Да тебе ли...»

Но я уже шёл через вестибюль к новому своему перевозчику с неотступным желанием выбраться в город. И поскорее.

Интерлог

Письмо господину Антону Коменскому, писано женским почерком казённым чернильным карандашом, Швейцария, 10 октября 1930 года. Осталось неотвеченным ввиду скоропостижной кончины заявленного лица.

«Мой господин, пишу Вам без обиняков. Друг Ваш хочет Вас видеть. Конечно, он думал о встрече с Вами и раньше. Но лишь теперь его навязчивое желание стало проблемой. Он считает, что мы Вас к нему не пускаем. Он хочет уйти. Вы понимаете, насильно удерживать его мы не можем. Это не наш профиль. Гости клиники поправляют у нас здоровье. Это курорт, а не тюрьма.

Как я и писала, состояние Вашего друга заметно улучшилось. Особенно в последние месяцы. Он довольно уверенно ходит, речь

стала членораздельной, но воспоминания его фрагментарны. О Вас он знает, пожалуй, лишь то, что Вы старый армейский товарищ и что Вы существуете.

Вчера он уговорил меня написать Вам письмо под диктовку. Справиться с этой задачей сам он, конечно, ещё не способен. Я сочла, что просьбу Вашего друга разумнее выполнить. Переписанный начисто текст смотрите ниже. Все мы ждём Ваших дальнейших инструкций».

*С уважением,
г-жа Марта Фраух,
Больница Святого Духа, Люцерн*

«Дорогой друг.

Почему Вы не приезжаете? Мне столько о Вас рассказывали. Жаль, что я всё позабыл. Но я попрошу сестру, которая присматривает за мной, которая составляет мне компанию, чтобы она всё записала. Мне сказали, что Вы оплатили моё пребывание здесь и ведёте мои дела. Это значит, что мы с Вами большие друзья, что Вы очень цените нашу дружбу. Так приезжайте ко мне. Я подозреваю, что нам не дают видеться, оберегая Ваше спокойствие. Но я выгляжу уже хорошо. Сегодня мне постригли усы, убрали всю седину, и я снова парень на выданье. Рука ещё не работает так, как положено. Вы знаете – я левша. Так что письмо пишет Марта. Я так хочу наконец познакомиться с Вами. Приезжайте. У нас здесь чудесный сад с видом на горы. Мне сказали, что я любил горы. Подолгу там жил. С балкона тоже хороший вид.

Я вот что хочу. Будет вечер в городе. Собираются наши. Нам, чехам, надо держаться вместе. Меня приглашают. Санитар из соседнего корпуса был с нами на Пьяте. Составите мне компанию? Но я не знаю, где мои вещи. Форма, награды. У меня должен быть «Карлов крест» и что-то ещё. Они не у Вас? Если у Вас, привезите.

Мне никто не пишет. Совсем никто. Может, никто не знает, что я здесь. Ведь не может же быть, чтобы, кроме Вас у меня в целом мире никого не было. Жены, невесты, любимой. Друг мой, если у Вас будет возможность связаться с теми, кто меня знает, дайте им мой теперешний адрес. Он должен быть на конверте. И приезжайте скорее».

Часть четвёртая

16

Сладострастие бытия. Если бы я писал книгу о своей нынешней жизни, я бы назвал её именно так. Я так и сказал Нижинскому. Он

долго стоял в колоннаде, разглядывая в панорамном окне ширь Каналь Гранде и мою новую «Испано-Суизу» внизу у причала.

«Не думаю, что Ваш выбор удачен, – улыбнулся он мне, возвращаясь к кофе с мятным ликёрчиком, которым я его угощал. – Почему же Вы сделали это?»

«Почему я покрасил гондолу вишнёвкой? – уточнил я. – В память о матушке, разумеется. Совет, конечно, был против, и друга моего в гильдию принимать не хотели, дескать – самоубийца, и всё такое. Но я настоял. Вообще, я считаю, что жить нужно полнее и ярче. А белая гондола уже есть у маркизы. Вот я и выбрал из стильных расцветок ту, что несёт хоть какой-нибудь смысл».

«А как Вам достался этот великолепный образчик позднего Возрождения?» – сделал неопределённый жест Вацлав.

«Тут совсем ничего любопытного. Один из гостей маркизы, граф де Монте... Монте...»

«...скьё?» – предположил Вацлав.

«Нет, не он, впрочем – какой-то француз, подарил мне его в обмен на прощение...»

«И Вы простили его?»

«Ну, разумеется. Видите, я неплохо устроился».

Помолчали.

«Да, о гостях маркизы, – нарушил молчание Вацлав. – Саид, вернее, Его Величество, просил напомнить Вам, что Вы обещали ему адрес...»

«Да, да. Помню, – ответил я. – Сегодня же напишу. Было нехорошо с моей стороны заставить султана ждать. Впрочем, Нижинский, я вижу, что Вы хотите о чём-то спросить, да никак не решитесь...»

«И то верно... Да глупости, право... – он усмехнулся. – Я всё уразуметь не могу. Как с вашим здоровьем попали Вы в легион? Во вторую войну...»

«Ну, это было нетрудно, – рассмеялся я. – Пожалуй, из всех немногочисленных моих достижений это было самое лёгкое. Я жил тогда в Лондоне, вернее под Лондоном. Выглядел вполне здоровым и адекватным. Никаких медкарт я, естественно, не представил и о недуге своём умолчал. Тогда, к сорок первому, брали ведь почти без разбору, а у меня как-никак награды, боевой опыт. В итальянскую кампанию, кстати. То, что воевал за империю, то есть против Антанты, роли уже не сыграло. С итальянцами ведь воевал. Восприятие поменялось. А комиссия, – если Вы конечно об этом, – была чистой формальностью. Хочешь служить – служи. Так что – банальщина...»

«То есть Африка представлялась Вам средством убить в себе Анну?» – предположил собеседник.

«Ну, в общем-то, да... – ответил я, не колеблясь. – Жаль, что я вообще её вспомнил».

«Но почему? Нет, Вы не подумайте и поймите меня правильно, я вовсе не призываю Вас никого прощать, тем более – у Вас сейчас слуги, любовницы, выезды... Но почему, почему Вы не желаете остаться с нею? Вы можете всё изменить. Изменить в одночасье. Вы можете творить желаемое самостоятельно. Создайте собственный мир и покоряйте там что угодно. Не восьми, а, скажем, двенадцатитысячник... И отужинайте со своей богиней... Прямо на маковке... Вы ведь так её любите...»

«Нижинский, не городите глупостей, – осёк его я. – Вы ведь тоже любите Лу... И что? Это что-то меняет?»

«Но Вы же осознаёте, что, не принимая такого решения, отдав грядущее на милость судьбы, Вы отдаёте себя на мой произвол?»

«Поясните», – попросил я его.

«Ведь это же просто. Когда-то – и это естественно – память ваша ослабнет, и Вас потянет туда. К маркизе, в палаццо. Они постараются Вас обуздать, но мы-то уж знаем, сколь это реально. У них против Вас шансов нет. Промучившись ещё с миллион вечеров, пока Вы не забудете начисто лето двадцать седьмого, они решат, что Вы наконец созрели для действия. И тут опять появилось я, и поверну ситуацию так, чтобы дальнейший отрезок их жизни вновь стал подобием ада. Я вновь возвращу Вам память. И так будет продолжаться до бесконечности. Пока я не совершу непоправимой ошибки. Либо до тех пор, пока Вы не сделаете верного выбора, чего я с одной стороны страстно хочу из расположения к Вам, с другой – с той же страстностью – не желаю из чувств к Луизе. Вот такая вот вилочка...»

«Н-да... И вправду, весьма занимательно. Кстати, – оживился я. – Я приобрёл новенькую машинку. Английскую. «Ундервуд». И знаете – зачем?»

«Даже не представляю, – ответил Нижинский. – Вы же книгу писать не хотели. Вы мне сами сказали».

«Книгу – нет. Но взгляните». И я положил перед ним на журнальный столик свежую, ещё пахнущую типографской краской газету. На первой полосе крупными буквами чернел заголовок: «Покорение восьмитысячника. Антон Коменский взял Аннапурну».

«Вы перепечатали статью? – удивился Нижинский. – Ну Вы чудите, ей-богу... И зачем она Вам? В чём резон менять Эрцога на любовника вашей подружки?»

«Что Вы хотите этим сказать?» – не понял я.

«Антон Коменский... Ваш так называемый друг, тот – на лодке... внизу. Зачем Вам его известность при том, что это – неправда? Я б ещё понял, если бы Вы вписали себя... Это было б хотя бы забавно...»

«Нижинский, это совсем не смешно. Антон – это я».

Танцовщик внимательно поглядел на меня и, спустя вечность, промолвил с улыбкой: «Конечно, дружище. Я пошутил. Знаете, у меня ведь к Вам предложение, чуть было не позабыл за нашей беседой...»

«Валяйте», – сказал я, легко извиняя допущенную Нижинским бестактность.

«А почему бы Вам не устраивать вечера у себя? Огромный дом... Уверен, что и танцзал у Вас тоже есть. Тут можно даже кино показывать. Только представьте, как взбеленится Луиза. Вы ведь уже – одна из самых популярных персон в этом городе. Палаццо Веньеров – вчерашний день. Публика, – а я, уж поверьте, в этом смекаю, – жаждет новшеств. Организуйте свой вечер...»

«Ну, я даже не знаю...» – засомневался я.

«Поверьте, дружище... Тут нет ничего сложного... Я помогу... Только сотрите с руки этот крест. Замарашек никто не любит...»

19.10.2014

Форт полуострова Эскимо

(Немецкий текст Зарины Кулиевой, г. Вуппергаль, ФРГ)

И сильные вышли и стремились идти,
чтобы пройти землю; и он сказал:
идите, пройдите землю, – и они прошли
землю.

Книга пророка Захарии, 6:7

1

Мирек спешил. Он спешил как никогда. Он никогда не спешил так по пятницам. И не боялся опоздать на автобус. Да и не любил он автобусы. Привык, но не любил. Там, где он жил теперь, да ещё и с женой и дочкой Радмилой, эти длинные, жёлтые, пышущие жаром остеклённые монстры были необходимостью. Иногда, провожая дочь в школу, Мирек даже ловил себя на том, что смотрит вслед. И только когда туша вагона, описав широкую дугу, скрывалась за поворотом, теряясь в проулках и ущельях коттеджей, он поворачивался и уходил, смоля папиросу.

В автобусах были трубчатые поручни, обёрнутые белым и красным пластиком, резко пахнущие химикалиями скрипучие сиденья, в целом удобные, но не настолько, чтобы восхищаться инженерным гением сотрудников «Форда»... И эти люди. Особенно в центре. Их было много. Разные. Разной наружности. Разных национальностей. Палитра оттенков шевелюры. Говоров. Выговоров. Немцы, русские, словаки,

сербы. И лишь из динамика раздавалась непривычно правильная английская и французская речь.

Автобусы... Бывают ещё экскурсионные автобусы. Иногда люди, отработав какой-то срок, решают, что им необходим отдых. Видимо, под отдыхом они понимают новые впечатления, потому что автобус с отдыхом у людей вменяемых никак ассоциироваться не может. Они надевают тёплые вещи, привычно складывают в рюкзачки дневной паёк и едут осматривать примечательные места: дома знаменитостей, горы, водопады, озёра. Если едут на несколько дней, – останавливаются на ночь в палатках, готовят на костре варево из полуфабрикатов, черпают ложками тушёнку из серых жестянок, пьют дешёвое вино из железных кружек и пытаются забыть о доме. Но Мирек думал о доме – и именно поэтому спешил на автобус.

Эти тяжеловесы в мире машин ходят по определённому графику. Каждый час, например. Или два. Или дважды в сутки, если маршрут пролегает через совсем небольшие посёлки. Или если экскурсия не популярна. Или если это школьный автобус. А бывает, что он приходит лишь несколько раз в неделю. Или один раз. Например, по пятницам. Тот, на который опаздывал Мирек, приходил только по пятницам. И то – не всегда. Ведь это был экскурсионный автобус. Длинный, жёлтый, с эмблемой «Форда» на пышущей жаром решётке радиатора.

Он приходил так редко, потому что маршрут пролегал через совсем небольшие посёлки. И потому что экскурсия была не слишком популярна. В это время года. Холодно, промозгло. Туристы спасаются под разноцветными пуховыми куртками и ватниками, заматывают носы плотными шерстяными шарфами и выезжают на побережье, переночевав в тёплой гостинице в Бенбоу. Побродив немного вокруг форта и взобравшись на стенки, всматриваются они в ясную или же зыбкую даль, будто надеясь высмотреть на схваченной льдами равнине французские крейсера, а потом едут искать белых медведей.

В прошлом году Мирек сам привозил сюда дочку – поглядеть на океан, естественно, – летом. Он никак не думал, что будет спешить на этот автобус зимой. В такой холод. Как, наверное, тепло и хорошо в автобусе. Яркие ватники и куртки создают настроение, новенькие мягкие кресла так и призывают расслабиться, вкусить неги и безмятежности. Как убаюкивает вибрация двигателя, подспудно вливающаяся в пальцы через ручки и подлокотники, обёрнутые белым или красным пластиком. Он не любил автобусы? Чёрта с два.

Автобусы? Да он их обожал! Воистину, это одно из высших благ цивилизации! Благословен наземный пассажирский транспорт, дорожное полотно, движки и покрывки!.. Но как же тяжело до них добираться. Ползком.

2

«Красную птичку» тогда искали все, кому не лень. От Якутии, будь она трижды неладна, до Аляски. Ну, Советы – понятно. А в Штатах... Кто летал из простой солидарности. Кто за престижем – утереть нос расхваленным «соколам». Ходили слухи о золоте.

Мирек с Карлом тоже искали. Арендовали борт. С двумя русскими, встреченными в Аяне в двадцать третьем. Когда покупали в складчину револьвер, чтобы застрелиться. Искали до сентября. Без толку.

3

– *Hallo, Nachbar!* – крикнул ему Карл по утрянке, не то что не дойдя до порога, а едва обогнув мусорные баки. – *Hast du das schon gelesen? "Der erste Sowjetische kommerzielle Transpolarflug" ist misgelungen...*

– *Und?* – Мирек продолжал невозмутимо орудовать шваброй, промывая плахи террасы.

Вместо ответа тот сунул ему в руки свежую газету.

– *Errinerst du dich an ihn?* – ткнул он пальцем в фотографию на первой полосе.

Мирек чуть не выронил швабру.

– *Gibt's doch gar nicht...**

4

Форт Принца Уэльского построен ещё в восемнадцатом веке. Конечно же – англичанами. Конечно же – от французов. Да, впрочем, и от местных. Возвышаясь над устьем полноводной Миссинипи, он представлялся надёжной защитой от любых посягательств картавых авантюристов. Одним своим видом повергая аборигенов в благоговейный трепет, форт был домом властей и символом власти.

Сюда сплавляли мужчины-кри юркие лодки, желая обменять дары Маниту на слёзы зелёного змия, сюда приходили иннуиты с мехами и костью. Не утлый частокол степных рубежей, не сосновые заплоты «свободных колоний», не земляные валы Квебека – дикий суровый камень образовал четыре правильных бастиона прибрежной твердыни.

Неприступные крепости часто сдаются без боя. Гарнизон уступил форт Лаперузу без единого выстрела. В самом деле, ну кому в здравом уме придёт в голову драться с залётным корсаром за кусок бульжжного пляжа

* – *Эй, сосед! Уже читал? «Первый советский коммерческий трансполярный перелёт!» накрылся тазом...*

– *И что?*

– *Помнишь его?*

– *Вот те нае...*

на краю стылого моря? Расчёт был верен. Короткое лето окончилось, и форт вернули владельцам. За ненадобностью. Его ведь нельзя унести с собой. И сносить – разоришься. А там уж и хозяева его бросили. Зачем, думалось им, поддерживать то, на что не зарятся лягушатники? Пустые траты. Может, поэтому так хорошо сохранился одинокий озябший страж Эскимосского полуострова, что на проверку оказался не нужным ни французам, ни англичанам, ни, уж тем более, местным?

К концу Великой войны форт объявили достоянием нации, но лишь после депрессии смогли навести порядок и начали возить туристов. Поездом или самолётом до Бенбоу многие сотни миль преодолевают зеваки, чтобы попасть в эту глушь, окрещённую прессой мировой столицей белых медведей: покататься по побережью – от посёлка к посёлку, пощёлкать затвором «Лейки» с высоты бруствера.

Мирек и впрямь считал, что здесь очень красиво. Естественно, летом. Наглядевшись с высоты на россыпь озёр Манитобы, семейство распрощалось с Карлом, отбившем на своём одномоторном корыте к западным стойбищам. Переночевав в отеле, Мирек арендовал «Шеви» в китайской лавке и повёз дочку в крепость. Впрочем, от переправы они решили пройти пешком.

Этот медитативный пейзаж, ласкаемый солнцем, необычайно хорош. Вернее, хорош он – только ласкаемый солнцем. Ровный, как стол, раскрашенный тремя красками – болотной, серой и синей, он начинает выигрывать на оттенках и людском оптимизме. Низкая рамка седых куртин наполняет его странными смыслами, не более, впрочем, реальными, чем французские паруса на лазоревом горизонте. Дыхание северных льдов, крошащее старые камни, сходит почти на нет, и лишь растворённое в водах, передаёт галечным косам страх и предчувствие ночи.

Проехал автобус с туристами. Развернулся на отсыпанной гравием площадке и сдал задом к самому барбакану. Шофёр, усатый немолодой эмигрант, открыл дверь, и пёстрая толпа потянулась через узкую брешь ворот во внутренний двор. Она просочилась сквозь стены казарм, окропила крошево рухнувшей кладки, омыла ржавые стволы батарей, вспенилась в теснинах аппарелей и растворилась где-то на территории. Был вторник. Летом автобус приезжает не только по пятницам.

По сути, внутри смотреть нечего. Форт интересен лишь издали, как акцент, как цель. Когда трогаешь босой ступнёй холодную воду речной губы и чувствуешь его присутствие. Когда ищешь куриных божков в галечнике и видишь его боковым зрением. Когда бредёшь по узкой гравийке к стоянке автобуса рядом с приземистым барбаканом и перебираешь в памяти кадры бесчисленных озёр Манитобы и ценники

в новой китайской лавке, а он тянет тебя вовнутрь массой тысяч тонн стройматериалов. Но это ловушка, обман – внутри смотреть нечего.

И они опускали ноги в лазурь широкой губы Миссинипи; восторгались тенаровой синью бесчисленных мелких озёр, виденных с воздуха; пообедав на пляже, искали куриных божков до самой стрелки ровного, словно стол, оптимистического пейзажа. И больше в крепость не возвращались.

5

Ему и в голову не приходило ползти. Поначалу. Пока не пришли мысли. Пока он в конном строю имперских улан не вылетел прямо на пики. Пока не столкнулся с Карлом на улице Белгорода. Пока не стал оседать в снег.

Мирек знал, что лечь – это почти конец. Годам, проведённым в этой стране. Среди подобных ему. Что ездят в автобусах. Немцев, русских, словаков, сербов. Правильной английской и французской речи. С выговором. Светлому пиву с кнедликами. Чужому Северу. В чужой стране. На чужом континенте.

6

Мирек оставил Карла и санки несколько часов назад. И больше о них не думал. Они будто растворились в молоке. Будто бы умерли. Карл. И санки. Иногда казалось, что слышна вибрация двигателя. Потом он вспоминал, что двигатель тоже умер. И очень не вовремя. Где-то позади, над пустым побережьем Гудзонова моря. Ещё до того, как Миреку стало ясно, что он был неправ. Что он ненавидит Север и любит автобусы.

7

Карлу так и не купили новые «крылья». Пусть компания клялась и божилась. То ли денег жалели, то ли не за тех воевал. Когда от индейцев дошёл слух о находке, лететь оказалось не на чем. Пришлось ему наспех шаманить своего «старичка».

От аэродрома Бенбоу взяли на северо-запад. Пересекли Миссинипи, оставив Эскимо справа. По словам поджарого скаута-кри, щеголявшего, на зависть округе, узорчатой вертикалкой и джинсой «Ливай-Стросс», где-то среди непролазных топей иннуитского пограничья он и обнаружил бомбардировщик.

И он не врал, запивая слова пльзенским в прокуренном баре, этот ковыряющий стойку субъект без левой половины лица. Синий хвост высоко торчал среди заметеленной пустоши, словно заплывший жиром обитатель морских глубин вынырнул, но был схвачен тисками колючего воздуха и заморожен в ледовую толщу. Но нет – напитанные

влажгой равнины к западу от Гудзона всё же считаются сушей. Чудище попало сюда сверху.

Карл заложил новый круг над павшим гигантом и, разглядев чуть поодаль обломки крыла, даже присвистнул. И верно – асом военно-воздушных сил Карел Простак числился в те незабвенные времена, когда аэропланы мастерили ещё из фанеры, а бои в небе были пальбой друг в друга из маузеров, наганов и смит-вессонов. Такие машины в этой стране он видел лишь на картинках.

Но как пропавший советский борт попал сюда? В Манитобу? Что внизу именно он – цель бесплодных поисков лучших авиаторов мира, – сомнений не было. Синь толстого тулова, розовеющие в снегу ошмётья с кириллицей. Откуда он взялся здесь?

Никаким «сбился с курса» этого не объяснить. На трёх движках от Врангеля на Гудзон добраться нельзя. Значит ложь – экипаж не летел к Аляске. Они метили в сердце Америки.

Вот это был бы фурор! Фантастика! Сродни концу света... Приземление такой «птички» в Чикаго, Торонто, Детройте... Коммерция? Да плевать на шкурки и золото! Это меняло всё. И навсегда.

Рвануть напрямки сквозь полярную зону – значит решить проблему дальности. Переброска в район Великих озёр в автономном режиме стратегического бомбардировщика, каким и был ДБ-А, возвестила б конец мироукладу Антанты. Показав, что Америку, диктовавшую из-за океана правила игры половине земного шара, Америку, уверенную в полной своей безнаказанности, Америку «большой дубинки», можно было бомбить. А раз можно бомбить, можно и договариваться. Но – не долетели.

Мирек знал, – старый их с Карлом знакомец сделал всё возможное и невозможное. Лучшей кандидатуры, пожалуй, и придумать было нельзя. Этот поляк не останавливался ни перед чем в стремлении услужить «сынам революции». Ни в ходе переворота, ни в продрозвёрстку, ни потом – на сибирском фронте. Циничный, амбициозный, жаждущий славы, классово чуждый Стране Советов и возведённый ею в герои, бывший поручик мог или утвердиться в статусе небожителя или оплатить его смертью – упокоиться в крылатом гробу, раскрашенном в родовые цвета.

И вот ведь что получается. Пока они с Карлом спасались в глуши от выродков из ветеранских организаций, люди – те самые люди, встреченные ими на пепелищах, – делали себе карьеры. А не мотались на одномоторных корытах по отдалённым стойбищам, почитая стабильность за благо.

Да, нельзя не записать себе в плюс, что есть дом, жена и дочка Радмила, школьный автобус, терраса, мусорные баки под окнами, друг Карл, да ещё пара бывших легионеров из бара, что зовут его Миреком, но о том ли мечтал молоденький австрийский улан, пришпоривая любимца-Каюра и мча с шашкою наголо в лоб конникам Келлера? Конечно же нет.

8

Мирек познакомился с Карлом в толчее Белгорода. Вместе они шли по Транссибу. И в числе многих и многих так и не сумели вернуться домой. Дикая история в Приамурье – вотчине накокаиненных подьесаулов, возомнивших себя мессиями и спасителями Отечества – обещала им трибунал и расстрел. После была якутская авантюра, Аян, Камчатка, Аляска. А к двадцать восьмому году они окончательно осели здесь. В краю озёр, хоккея и нетрезвых индейцев. В Манитобе.

Когда-то давно, по юности, Мирек только и грезил Севером. Севером и его славой. Вот только Север без славы был предначертан ему войной.

9

Зал содрогался от чеканных звуков песни германоязычной аборигенки, привезённой в трюме с каких-то Богом забытых островов в качестве экзотического куска мяса. Убийственный акцент, придававший и без того матерным интонациям «наречия смелых» какой-то нечеловеческий, зоологический шарм, эрективными волнами разливался по рядам общих столиков и коробам заполненных кабинетов.

Рядом сидели трое. Интеллигентного вида старичок с козлиной бородкой и в золотых дугах очков что-то деловито рассказывал. Мирек смаковал пиво, заедая его безжалостно расчленяемым ломтиком «Эстерхази». Это место было единственным во всей Вене, где он мог спокойно выпить кружечку пльзенского.

– *Ich bitte noch mal um Ihre Aufmerksamkeit, Herr Graf,* – Мирек прислушался, а старичок смущённо опустил глаза в стол. – *Das ist ausschließlich eine Forschungsreise. Heutzutage sind doch Jagdexpeditionen populär geworden. Da kann man Walrosse und Robben schießen... Ich möchte nicht die Fristen neu setzen... Das ist viel zu viel Arbeit... Sie verstehen doch, derjenige der zahlt... hat ein Recht dazu. Doch ich möchte das nicht... Wegen der Wissenschaft... Verstehen Sie...*

– *Ich verstehe...* – участливо произнёс Мирек.

– *Und sind Sie auch bereit die Expedition bei diesen Bedingungen zu finanzieren?*

– *Absolut, Herr Doktor. Absolut.*

Старичок просиял:

– *Ich verspreche es Ihnen, Herr Graf, die Geschichte wird Sie nicht vergessen. Ich verspreche, ich verspreche.**

И начал трясти его руку с зажатой в пальцах десертной ложкой.

10

Пока Мирек преодолевал выветренные кусты и булыги низкого берега, последние фигурки исчезли с высоты бруствера. Револьвер с двумя оставшимися патронами, тот самый, купленный в Аяне смит-вессон, всегда лежавший заряженным под креслом пилота, он оставил Карлу. На случай, если мишки решат вернуться. Он попытался кричать, но не смог.

В эту пятницу были туристы. Был автобус. Массив форта тысячей тонн бесполезных стройматериалов закрывал от него барбакан, остановку и приторно жёлтый вагон «Форда», ждавший последних пассажиров, чтобы отправиться расчищенным зимником дальше к прибрежным посёлкам.

По ту сторону извьюженного бастиона был припаркован последний их с Карлом шанс, и Мирек чувствовал, как шанс этот ускользает из его рук с подачи немолодого усатого эмигранта, сидящего за баранкой. Он чувствовал, нет – знал это наверняка, – ещё добрых две мили до Бенбоу по ледовому панцирю Миссинипи ему не проползти.

Поэтому он побежал.

11

Мимо него на восток катила лава. Мимо него. На восток. В касках с волосяными султанами. В голубых расшитых мундирах.

Он начал видеть себя. Там, среди них. Юным богемским красавцем с графским титулом и приятным именем Мирослав, мечтавшим о Севере и его славе и считавшим войну двухнедельной заминкой в блистательных планах.

Пришпорив коня, нёсся он полем сжатой пшеницы на русские пики с шашкой в бледной руке.

* – *И ещё раз обращаю Ваше внимание, господин граф. Это исключительно, исключительно научная экспедиция. Сейчас ведь в моду входят экспедиции охотничьи. Пострелять моржей, тюленей... Мне бы не хотелось перекраивать сроки... Столько работы... Вы ведь понимаете, тот кто платит... вправе. А мне бы так не хотелось... Ради науки... Вы понимаете...*

– *Я понимаю...*

– *И Вы согласны финансировать экспедицию на этих условиях?*

– *Безусловно, доктор. Безусловно.*

– *Обещаю, господин граф, история Вас не забудет. Обещаю, обещаю*

Мирек спешил. Он спешил как никогда. Он никогда не спешил так по пятницам. И не боялся опоздать на автобус. Да и не любил он автобусы. Привык, но не любил. Там, где он жил теперь, да ещё и с женой и дочкой Радмилой, эти длинные, жёлтые, пышущие жаром остеклённые монстры были необходимостью. Иногда, провожая дочь в школу, Мирек даже ловил себя на том, что смотрит вслед. И только когда туша вагона, описав широкую дугу, скрывалась за поворотом, теряясь в проулках и ущельях коттеджей, он поворачивался и уходил, смоля папиросу.

21.08.2014

Натуральные основания

$$\begin{aligned}x_n^2 &= 2x_n + x_{n-1}^2 - 1, \\x_n^3 &= 3x_n x_{n-1} + x_{n-1}^3 + 1\end{aligned}$$

– для чисел натурального ряда

1

– Для квадратов. Пусть значение икс равно двум. Два умножим на икс энное, то есть на два, прибавим квадрат предыдущего числа в ряду – единицы. Четыре плюс один – пять. И минус один. Итого – четыре. Два в квадрате.

Пусть икс равно трём. Два умножим на икс энное, теперь уже – три, прибавим квадрат – квадрат двойки. И вычтем единицу. Шесть плюс четыре – десять. И минус единица – девять. Три в квадрате.

Для кубов. Пусть икс два. Три мы помножим на два – наше икс энное и на икс энминуспервое, то есть единицу. Прибавим икс энминуспервое в кубе. И единицу по формуле. Расчёт даст нам восемь. Куб двойки.

Если три. Три на три да на два – восемнадцать. Плюс два в третьей – восемь. Двадцать шесть. Плюс один – двадцать семь. Три в третьей.

2

Эти формулы, выведенные им ещё в школе, чтобы позлить Валентину Андреевну, Артур отыскал совсем недавно, перебирая хлам с антресоли. Он их запомнил. И упражнялся в счёте. Сейчас он завязывал галстук. И упражнялся. Упражнялся. И завязывал.

Приехал брат. Из Питера. По делам. И галстук... Галстук был определённо желателен. Для тройки.

Итак, для тройки. Поднимем ворот сорочки и накинем петлю. Потянем широкий конец, чтобы пальцы коснулись шва. Обернём

широкий конец вокруг узкого. Пропустим в петлю. Обернём снова. Пропустим в обратную сторону и вуаля... Чёрт! Не сходится. След от булавки под самым узлом.

3

Если четыре... Четырежды три. Да на три. Да тройка в кубе. Прибавить один. Шестьдесят четыре.

Какова зависимость? Вот что важно. Вот что нужно понять. Иначе сидеть вечерами за столом в полосе света настольной лампы – совершенно бессмысленно. Как и чиркать карандашом по листам писчей бумаги, перекраивая раз за разом строки подсчётов. Должна быть общая формула. Общий закон. Для степеней натуральных чисел. Прорыв. Маленький презент человечеству. Из России. С любовью.

Пять в кубе. Петля. Широкий. Узкий. Шов. Приспустить.оборот. Через верх. И вовнутрь. Вуааля... Сто двадцать пять. Вроде норм... Ах, да. И булавка. От Живанши.

4

– А, здорова, здорова, братишка! Блин, чувак, рад тя видеть! Да вот, растём потихоньку! Садись, я уже заказал. Да не вопрос. Да, говорю, не вопрос! Ну, ты как всегда. Садись, давай! Сколько уж не видались... Да не может быть. Да не может... Да я те говорю. Я приезжал тем летом. Мы с матерью на площадь ходили. А ты где был? Тогда ясно. А чё так вырядился-то? Ну, так ресторан ресторану, как грится... Это ты мне рассказывать должен, где тут у вас что. Я теперь не местный уже. Ну, в обед поди людно. Да это, по ходу – так, для планктона с этажей. Как ты их называешь?.. Как-то забавно... А да, точно. Розово... рубашечники. Старик, я по те-е скучал...

5

Артур же скучал по временам, когда дед был жив. Когда они занимали апартаменты в Центре. С высокими потолками, оранжереей и ленточными балконами, глядевшими в городской сад. С серебряным «Хорьхом» у парадного. С библиотекой. По математике. Дед собирал её всю свою жизнь. Семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый век. Современность. Будущность. Инфернальные стеллажи с блоками и шестерёнками, спроектированные Татлиным для московского дома, он тоже привёз сюда, когда получил факультет. Новый факультет в новом институте. В тридцатых.

Этот тщедушный старик всегда был обласкан вниманием. И, похоже, весьма тяготился им. Немудрено. Ему было уже под девяносто. Вечерами верный Михалыч вкатывал его сухую фигуру в английской шерстяной тройке в книжный зал, зажигал свечи того, во что мёртвые дедовы друзья-футуристы некогда превратили строгий

стейнвей. Задёргивал шторы, выключал свет, принимал высокий бокал с остатками чёрного «Оджалеши». И удалялся. И рождалось волшебство. Профессор играл Революционный этюд.

6

– Так ты чё, всё там же? И чё имеешь? Чё? Серьёзно? Сочувствую. А чё не позвонил? Ну и чё ты там ловишь? Бабу-то себе новую нашёл? Старик, ты меня пугаешь. Да понимаю. Так смени её! Да какая в ж... кандидатская? Можно подумать, ты её пишешь. Ну. Ну, а я те чё говорю? Брат, обращайся. Чё ты как не родной, я прям не знаю? Да ты понятия не имеешь, с кем работать приходится, они... Они ваще лыка не вяжут. Ну, дуб дубом. Не, ты вспомни, как нас дрючили. И мы же хоть чё-то соображали. Ну, ты-то у нас старая школа. Ну, да, да. Давай ко мне. Бу-эшь сопляков строить. Ну, почти то же, тока за бабки. Специалисты нужны. Я ж тут сам второе получил. Ага. Да. Ну, да. Да, на заочке. Да. Ну, прикольно. А так-то – чем маешься?

7

После дедовой смерти порядки не поменялись. Та же публика, те же ужины допоздна. Только серебряный «Хорьх-36», подарок Орджоникидзе, переехал в гараж на даче. Молодая жена возглавила кафедру. Помада, каблуки, дорожные платяя столичных модельеров. И шлейф французских духов по коридорам. Разница у них была лет в пятьдесят. Они почти не общались. Только писали друг другу через Михалыча, всякий раз начиная сакральным: «Дорогой друг, Вы...» Она закрыла библиотеку, но с прислугой можно было договориться. Сначала внук просто бродил среди стеллажей, разглядывая вереницу дряхлеющих фото: вот деду двадцать и он в маскарадном костюме опричника, вот он у британского танка, вот с тростью и в смокинге где-то в Потсдаме, или за руку здороваётся с подозрительно узнаваемым человечком в неаккуратной кепке. Под стеклом у голландки лежали погоны, стопочка газырей и громадный кинжал – следы пяти месяцев в Дикой дивизии. Лик Моздокской Богоматери, покрывшийся слоем пыли, с укоризной разглядывал траурные портьеры. Потом украдкой он начал читать. То, что было на русском.

8

– Мальчик, давай по соточке. Со льдом. Понять не могу. Чё за формулы? Дай Бог памяти. Ну да, помню. Говорил. Да, помню, соображал. Так ты ж за меня семестровые писал, брат. Как не помнить. Ну, если те-я это так вставляет, чё на физмат не пошёл? За столько лет уже отучился бы. А вспомни матметоды. Чё-т я у тя к ним особой любви тогда не заметил. Ну, даже и так. Ну и чё ты с этим бу-эшь делать? И чё? И? Не, ты жжёшь! И как ты это... А ты ваще уверен,

что это что-то... что это кому-то надо? Ну и што? Смысл-то какой? Ладно. Ладно, показывай! Не хочу, но ладно. Мальчик. Гарсон, ёпта. Тащи уже горячее. Я те знаешь куда отмазки твои вверну?..

9

Со временем Артур понял, что математика – это универсальный язык, язык жизни, язык Бога. Он хотел это проверить по Библии, которая у дедушки тоже была. Там даже есть книга такая – Книга Чисел. Прочитав, он был разочарован. Перечень колен израилевых – вовсе не то, на что он рассчитывал. Внук был уверен в одном – дедушка, как математик, знал язык Бога точно, а значит, общался с Ним. С помощью формул. О чём? О Божьем Законе. Основном в мироздании.

А как могло быть иначе? Прячась за складками занавесей с ключом в кармане, посреди ночи, когда все уже спали, он представлял деда древним демиургом за бесформенным алтарем рояля. Тот приносил беднягу Шопена в жертву Создателю в блёклом мерцании нашей галактики, что прорывалось сквозь грязные стёкла запущенной оранжереи, превратившейся в девственный первородный сад. Закон здесь ощущался во всём. Он был везде. Вокруг. В этих книгах, в этих полках, в проступающих из темноты адовых балках и шестернях, в старой оранжерее, в самой атмосфере конструктивистского дома-гиганта на полторы тысячи окон, площадью в целый квартал. В Шопене, в Млечном Пути, в Богородице, в дедушке, в чешском стекле, испачканном «Оджалеш», в нём самом. Нужно только узнать формулы.

10

– Итак. Для квадратов. Пусть значение x равно двум. Два умножим на x энное, то есть на два, прибавим квадрат предыдущего числа в ряду – единицы. Четыре плюс один – пять. И минус один. Итого – четыре. Два в квадрате.

Пусть x равно трём. Два умножим на x энное, теперь уже – три, прибавим квадрат – квадрат двойки. И вычтем единицу. Шесть плюс четыре – десять. И минус единица – девять. Три в квадрате.

Для кубов. Пусть x два. Три мы помножим на два – наше x энное и на x энминуспервое, то есть единицу. Прибавим x энминуспервое в кубе. И единицу по формуле. Расчёт даст нам восемь. Куб двойки.

Если три. Три на три да на два – восемнадцать. Плюс два в третьей – восемь. Двадцать шесть. Плюс один – двадцать семь. Три в третьей. Всё сходится.

11

В школе ему объясняли, что Бога нет, а математика нужна, чтобы, когда идёшь за хлебом, не обсчитали на кассе. Но за хлебом у них ходил Михалыч. А молоденькая учительница это принимать отказывалась.

Категорически. Как факт. Может, не знала, зачем ещё нужна математика? Да и не учила она по-настоящему интересным вещам, например, как умножать, загибая палец, или как найти золотое сечение, или определить возможность однократного прохождения по мостам прусской столицы. В чём экономический смысл числа Эйлера, она тоже не знала. Фамилию Магницкий, кажется, где-то слышала, но не была полностью в этом уверена. А как недовольно она косилась, когда вместо того, чтобы как все биться со сторонами и диагоналями, он ссылался на теорему Клавдия Птолемея, которой, увы и ах, нет в школьной программе. Похоже, Валентину Андреевну это сильно бесило.

12

– Артурчик, я понял, что сходится. Я понял. Я тебе верю, что это важно. А ты уверен... что всё это уже не сделала какая-нибудь немчура... в восемнадцатом веке? Нет, серьёзно. Эйлер какой-нибудь? Или, дай Бог памяти, Лей... бниц? Был такой, да? Ну, или хотя бы он. Допустим. Я думаю, ты слишком близко к сердцу это принимаешь. Все твои формулы, поверь, окажутся какой-нибудь, как бы помягче... ерундовиной, и потом ты опять будешь расстраиваться. Ты хоть обращался к кому по этому поводу? Ну, к кому? Я не знаю к кому. К нашему препода, например. Классный был мужик. Ведёт? Ну вот. Или дядька, который у нас читал в старших классах. Да курс подготовительный. Што? Ты чё, прикалываешься? Нет, нет... Это ты меня послушай! То есть ты... Шчас сформулирую. Ты ушёл с головой в какую-то неведомую херню. Именно, неведомую херню. Раньше ты, может, и соображал. А сейчас, я уверен, сечёшь на уровне третьеклассника. И ты не хочешь показать её спецам, чтоб те не узнали, што она существует? Боишься, што сопрут? Я тебя правильно понял? Ну, ты и дебил.

13

Они с братом поступили на эконо. Мать настояла. Дескать, новые времена – новые правила. Математику им, надо сказать, преподавали всерьёз. В одной из аудиторий в Главном всё так же висел портрет деда в простой остеклённой рамке. Благодный старичок с милой улыбкой. Ну, точь-в-точь, только без пенсне и бокала. Сказали, работа кого-то из местных, правда авторской подписи он не нашёл.

Но всё равно это было не то. Уж в институте-то Артур хотел докопаться до сути, но нет – один сплошной функционал. А как говаривал их незабвенный препод по вышке, брать третью производную можно научить даже обезьян. Метода академика Павлова. Кнопочки, звоночки, дёрнул, нажал... Оп!.. Банан! Вот такой дрессированной мартышкой он с тех пор себя и чувствовал в храме науки.

– Это зависимость. Я не о том. Не об иксах и игреках. Зависимость. Натуральная наркомания. Я – не хочу – ничего – слушать. Мы и так битый час обсуждаем это математическое дерьмо. И давно это с тобой? Поиск основного закона. Вот что значит ЭТО! Ты хоть на пары-то ходишь? И што ты там делаешь? Хочу верить, но как-то не получается. Ты как до этого докатился, брат? Што, сложно было мне позвонить? Обязательно чувствовать себя особенным? Все работают там, где платят. Только такие как ты пашут две ставки за еду. С персонажами, которых, ей-богу, проще перестрелять. Мальчик, повтори по стакашке... И – салатки. А эту бредятину дай-ка сюда.

«Хорьх» и булавка – всё, что осталось от деда в обыденном мире. Ну, не считая их с братом, стопки жёваных фото да древних учебников, которые только в сети и можно ещё отыскать. Вдова стремилась сохранить библиотеку, хотя на неё зарились московские вузы и три или четыре центральных музея. Брат распродал собрание по частям много позже, оно ему было не нужно. Продал он и квартиру. Артур пару раз проходил мимо во время ремонта. Ушлые таджики выкидывали куски татлиновских стеллажей прямо из окон. В ёлочки. Два или три рельефа с резными шестернями упали в фонтан и несколько дней плавали среди блистающих струй и разинувших в изумлении рты цементных лягушек.

– Смотри не сверни ему шею, мальчик. Он всё-таки брат мне. Твою ж мать... Ведь не врут. Натурально. Четыре дырки. В конец спятил. Просто в зубы, я б ещё понял, но вилкой-то нах... я... Я считаю, продать дедулин «Хорьх» – шикарная идея. Он поди уж сгнил у тя на участке. Ты решишь все проблемы. Я и покупателя нашёл. В Калининграде. Это шестизначная цифра. В евро. Он на заказ делан. Хэнд мэйд. Он один такой. Ты только представь. Переедешь в нормальную хату. Бабу себе найдёшь, фигуристую брюнеточку. Да поманернее, как ты любишь. Проплатишь себе кирпич. Если неймётся. Всё не твои идиотские писульки. Да... хоть за жрачку начнёшь сам платить. Ведь стыдно говорить про тебя, когда спрашивают. А ведь ты... Рехнуться можно... Мой старший брат. Помнишь, дед как-то ляпнул, что лично знал Фрейда? Помнишь? Ну, так стремление к сытости, сексу и власти. Вот он – твой основной закон. Никаких формул. Либо стремление есть, как оно есть у меня, либо нет. И будешь нищим придурком. Вот как ты. И чем дальше, тем дурнее. Ну, смотрю, опять самому всё делать придется. Блиин... Да, парень,

спасибо тебе. Вот держи. На чай. Последи, штоб он не чудил, пока мои не приедут. А, забирай всё, нахрен. Заслужил, зараза.

17

– Верите-нет, а я не согласен. Если уж составлять триаду стремлений, то это стремления к любви, справедливости и поиску смысла. Только так и никак иначе. Вот что правит миром. Вот основной закон. Олл ю нид из лав. Каждый, даже самый никчемный человечиска, да даже самая откровенная сволота, жаждет, чтобы её любили. Справедливость? Да кто же её не ищет? Кто может сказать, что все и всегда поступали с ним как должно? Да и что значит – должно? У каждого своя правда. А смысл? Смысл даёт нам бессмертие. Подлинное бессмертие. Кто-то живет ради детей – это физический смысл. Биологическая вечность. Кто-то пишет музыку, строит Летатлины, Мону Лизу малюет. Чтобы застыть в вечности нафталиновой. Кто-то ищет ответ на основные вопросы человечества, вот как Вы. Этим Вы мне и нравитесь. Не переживайте за машину. У Вас ведь так и нет прав? Ничего, у меня есть. Или возьмем эвакуатор. У отца автосервис. На Орджоникидзе. Отгоним за милую душу. В тёплый гараж поставим. Лоск наведем. Классный же у Вас немец. Я его по выставке помню. Ну, той – на День города...

18

– Парень, ты вообще, кто такой?

– Артур Семёнович, Вы что? Я... ваш студент... Я тут три дня в неделю подрабатываю. Разносчиком. То есть, официантом. Вы мне сами свободное посещение подписали... Позавчера. Третий этаж. Вторая пара. Сегментирование рынка на основании критерия Пирсона. Егор...

– Ммм. Студент, говорите? Значит, учитесь у меня? Ну, предположим, что так и есть. И как? Учиться у меня? Нравится? И предполагаете продолжать? Тогда уберите грабли и будьте любезны, избавьте меня от сопливых инсинуаций. Нет, не всё. Шёточку для пиджака и лист писчей бумаги. Нет, два листа. Достаньте из ксерокса. У меня, кажется, появились идеи.

19

Деда нашли на кафедре. За пару минут до занятия. После помывки, которая обычно случалась в семь, ему помогли одеться, но галстук он всегда завязывал сам. Потом Михалыч с шофёром брали его под руки, опускали на громыхающем лифте на пять этажей вниз и бережно укладывали на задние сиденья футуристической торпеды его любимого «Хорьха». Дед обычно подолгу копошился у зеркала. Но в то утро, как ни странно, пальцы хорошо его слушались.

Артур уже тогда знал, как вяжется виндзор. Старый профессор поднял ворот белоснежной сорочки и накинул петлю. Потянул широкий конец, чтобы пальцы коснулись шва. Обернул широкий конец вокруг узкого. Пропустил в петлю. Обернул снова. Пропустил в обратную сторону. Вуаля... И обязательная булавка. От Юбера де Живанши.

20

– Четвёртые степени. Попробуем. Для тройки значение – восемьдесят один. Надо вывести формулу. Из тех, что для квадратов и кубов мы знаем, что должна быть свободная единица. Кроме того, икс энминуспервое в предыдущей степени – в третьей. Это – восемь. Итого – девять из восьмидесяти одного. Остается семьдесят два. Тут должен быть коэффициент, соответствующий степени – это четвёрка. Умножаем её на основание, возможно – в какой-то степени. В первой? Вряд ли. Скорее во второй. В третьей будет двадцать семь на четыре, а это уже – сто восемь. А так – тридцать шесть. И остаётся тридцать шесть из семидесяти двух. То есть двойка в квадрате на тройку в квадрате.

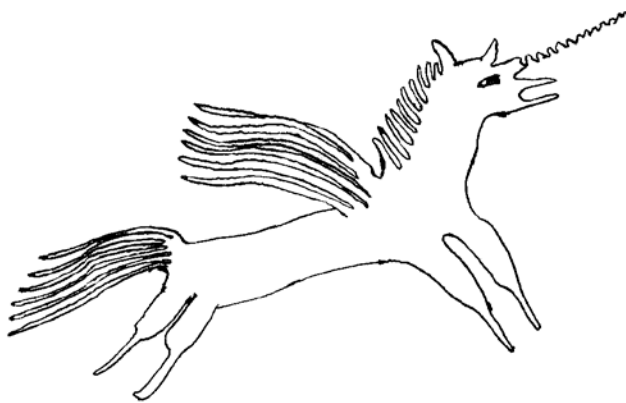
Проверим для следующего натурального основания – для четвёрки. Двести пятьдесят шесть. Пробуем. Четыре на четыре в квадрате, плюс три в квадрате на четыре в квадрате, плюс три в четвёртой, плюс единица. Шестьдесят четыре, да сто сорок четыре, да восемьдесят два. Итого – двести девяносто. Не сходится. Плохо. Это плохо. Но мы будем стараться. Так ведь, дедушка?

14.09.2014

Оглавление

Подъём к Аннапурне	4
Форт полуострова Эскимо	48
Натуральные основания	56

Тираж 50 экз.



Издательство «Ник без Компані»